Юрий Рейнгардт

«Мы для Родины нашей не мертвы...»

Воспоминания • Стихи • Сказки



Москва — Брюссель

2010

УДК 82-1, 82-3 ББК 84 (4 Бел) Р 35

Рейнгардт Ю.А. «**Мы для Родины нашей не мертвы...**» // Воспоминания. Стихи. Сказки. — Москва – Брюссель: Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2010. — 288 с., илл.

По благословению архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона Архив Русской Эмиграции продолжает публикацию своих материалов. Архив был основан в Брюсселе в 2002 году на базе некоммерческой Ассоциации Святой Троицы Московского Патриархата. Задачей Архива является выявление, сохранение и популяризация культуры, литературных и исторических трудов и документов, связанных с российской историей и духовной традицией. Архив обладает всеми правами на публикуемые им материалы.

Юрий Александрович Рейнгардт (1897–1976), участник 1-й Мировой войны и Белого движения, в эмиграции жил в Бельгии, работал таксистом, но главным делом его жизни до конца дней оставалось литературное творчество. Его произведения любезно предоставила для настоящего издания его дочь Наталья Рейнгардт. Отдельные рассказы–воспоминания публиковались при жизни автора в журналах русского зарубежья «Вестник первопоходника», «Первопоходник» и «Связь по цепям марковцев». Стихи, сказки и часть рассказов–воспоминаний печатаются впервые.

По свидетельству Натальи Рейнгардт, её отец «жил и умер с любовью к России и страстным желанием вновь её увидать». Любовью к Родине, русскому народу, родному языку проникнуты все произведения Ю.А. Рейнгардта независимо от литературного жанра. Несомненно, они будут интересны широкому кругу читателей в России и за рубежом.

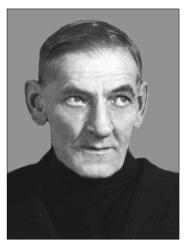
Попечительский Совет Архива Русской Эмиграции:

графиня **М.А. Апраксина** (Брюссель, Бельгия); князь **Б.П. Голицын** (Женваль, Бельгия); **Ю. Гурман**, чл.–корр. Российской академии информатизации, журналист (Стокгольм, Швеция); проф. **В.В. Метлушко** (Университет штата Иллинойс, Чикаго, США); **В.Г. Игнатьев**, ген. директор ЗАО «Р-Фарм» (Москва, Россия); **Е.Н. Егорова**, литературовед, член Союза писателей и Союза журналистов России, редактор-составитель издания (Москва, Россия); протоиерей **Павел Недосекин**, председатель Попечительского Совета, президент Ассоциации, главный редактор издания.

ISBN 978-5-904685-04-1

- © Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL, 2010
- © Протоиерей Павел Недосекин, вступительная статья, 2010
- © Егорова Е.Н., вступительная статья, составление, редактирование, худ. оформление, 2010

Жизнь и творчество Юрия Рейнгардта



Юрий Рейнгардт Фото 1972 года

Юрий Александрович Рейнгардт родился 5 января 1897 года в Орле. Его семья имеет немецкие корни: предки происходят из рейнских баронов, у которых титул и всё состояние переходили по майорату к старшему сыну, а младшие сыновья вынуждены были устраивать свою жизнь на стороне. Так Рейнгардты обосновались в России и обрусели. Александр Николаевич Рейнгардт, отец Юрия, был известным орловским адвокатом и видным общественным деятелем орловской губернии. Особое внима-

ние он уделял народному образованию и губернской газете «Орловский вестник». Перу А.Н. Рейнгардта принадле-

жит единственное в своём роде исследование «История начальной школы в Орловской губернии. Очерк деятельности уездных земств по народному образованию», вышедшее в Орле в 1897 году. Александр Николаевич детально рассмотрел школьное дело в Орловской губернии в 1864-1895 годах и дал положительную оценку деятельности земств на ниве народного образования, подверг критике несогласованность действий губернской и местной властей. Вместе с единомышленниками



Обложка книги А.Н. Рейнгардта А.Н. Рейнгардт, не будучи профессиональным литератором, активно сотрудничал в газете, которая превратилась из официозной и неинтересной в злободневное, популярнейшее в губернии издание.

Мать Юрия Александровича, Наталия фон Русс, тоже имела немецкие корни. Она умерла от туберкулёза в 1905 году, оставив сиротами двоих детей — Юру и Галю. Смерть матери потрясла впечатлительного мальчика. Он запомнил, как её хоронили в гробу, украшенном алюминиевыми ангелочками: «...я, семилетний ребёнок, утешаемый отцом, верил, что маме, окружённой ангелочками, будет теперь очень и очень хорошо».

Через некоторое время отец женился на вдове, в девичестве носившей фамилию Гончарова. У неё было двое своих детей — Лев и Татьяна. Дети быстро подружились, а ровесники Лёва и Юра даже некоторое время учились в одном классе гимназии. Мачеха, занятая светской жизнью, не делала никакой разницы между ними, занимаясь пасынком и падчерицей так же мало, как и родными детьми. Отец уделял им больше внимания, особенно летом, когда семья жила на даче.

В детстве и отрочестве Юра был очень любознательным, не по годам развитым и непоседливым. Обладая неистощимой фантазией, он выдумывал на редкость остроумные шалости, отчего за годы учёбы переменил несколько гимназий. Учился он не только в Орле, но и в других городах: Карачёве, Рославле, Брянске. Дар юмориста проявился у него уже в гимназические годы. Юра был мастером выдумывать меткие прозвища преподавателям, намертво к ним прилипавшие: Пипифакс, Семисрамида, Рылорея, Царь-Колокол... В одной из гимназий Орла он «основал» среди учеников «Общество поощрения рысистых бегов». Все преподаватели получили прозвания лошадей, а очерёдность их появления в коридоре рассматривалась как бега на ипподроме, и гимназисты ставили на них мелкие монетки. Выигрывал «банк» тот, кто поставил на преподавателя, пришедшего в коридор первым. Ежедневные «бюллетени» котировок Юра подписывал псевдонимом «Наездник». Раскрытие курьёзного «Общества» стало причиной очередного перевода Юры в другую гимназию.

Писать рассказы и стихи Юрий начал в годы ученичества. При содействии друга отца его произведение было впервые опубликовано в журнале «Сатирикон», когда юный автор заканчивал 4-й класс гимназии. Это сатирические стишки на Пипифакса — учителя словесности орловской гимназии Станислава Станиславовича Кржевицкого, на уроке язвительно назвавшего Юру и Лёву Максом и Морицем, именами известных шалунов, персонажей немецкого поэта-юмориста Вильгельма Буша. Одно из Юриных четверостиший было таким:

Смотрит Мориц, смотрит Макс, Как учитель Пипифакс, На ошибки страшно зол, Ставит в балльник частокол.

Юрий делал и переводы стихов с латыни, чем приводил в восторг преподавателей этого предмета, который многие гимназисты не любили. Литература стала его самым серьёзным увлечением. Он восхищался произведениями А.С. Пушкина, но особенно любил читать А.К. Толстого и Ф.М. Достоевского. И, конечно, Юрий не пропускал ни одного сколько-нибудь значительного произведения, появлявшегося в России в начале XX века. Основы стихосложения юный автор постиг ещё в гимназии, и его сатирические опыты свидетельствуют о немалом техническом мастерстве. Примером может служить сатира на одного из преподавателей:

Нил Сысоич Гваделупа Относился к делу строго, Баллы ставил очень скупо, Задавал ужасно много, Объяснял довольно глупо, С тонкой вычурностью слога...

Последним местом учёбы Юрия стал Лазаревский институт восточных языков (ныне Московский институт востоковедения), который ему не суждено было закончить. Шла Первая мировая война, обстановка на фронтах усложнилась, и 1 февраля 1917 года юноша поступил в Александровское военное училище на ускоренный юнкерский курс. Уже 1 июня его произвели в прапорщики, а 15 июня по особому ходатайству он прибыл на фронт в район Риги. Его зачислили офицером в 8-ю роту 175-го Батуринского

полка. Через месяц Юрию Рейнгардту доверили должность начальника команды траншейных орудий. Летом и осенью 1917 года он был дважды легко ранен.

Семья Рейнгардтов традиционно сочувствовала левым взглядам. А.Н. Рейнгардт в марте 1917 года стал председа-

телем временного революционного исполнительного комитета в г. Карачёве. Но дальнейшие события отрезвили и отца, и сына Рейнгардтов. Уже летом 1917 года они поняли, какая опасность грозит России. 24 июля, находясь на фронте, Юрий пишет восторженное, образное, полное надежд стихотворение «На назначение генерала Корнилова Главнокомандующим Русской армии».

Этим надеждам не суждено было сбыться. Корниловское выступление в конце августа 1917 года было подавлено Вре-



Генерал Л.Г. Корнилов

менным правительством, а в конце октября власть захватили большевики. Гражданская война стала неизбежной.



Генерал М.В. Алексеев

Для Юрия не стоял вопрос, к какой стороне примкнуть. В ноябре 1917 года он едет в Новочеркасск и становится членом Алексеевской организации, предтечи создаваемой генералом М.В. Алексеевым Добровольческой армии. Вначале Рейнгардт попадает в партизанский отряд есаула Чернецова, а через месяц — 15 декабря 1917 года — в 3-ю роту 1-го сводного Офицерского батальона. С приездом на Дон генерала Л.Г. Корнилова белое движение активизируется, всё больше добровольцев вступает в армию, представляющую уже

значительную силу. В январе 1918 года некоторое время Юрий Рейнгардт в составе железнодорожной команды связи был машинистом локомотива на линии Таганрог-Батайск-Ростов, но в феврале после оставления белыми Таганрога он вернулся в свой батальон, ставший 1-й ротой 1-го Офицерского полка, которым командовал генерал С.Л. Марков.

Юрий, как и многие его сослуживцы, боготворил отважного генерала Маркова, впоследствии командира дивизиона, за его личную храбрость, воинское мастерство и верность России. Все они с гордостью называли себя марковцами. Рейнгардт посвятил любимому генералу такие строки из стихотворения «Старая русская быль»:

Вечны картины сражения жаркого, И средь стрелковых цепей Всюду фигура виднеется Маркова С верной нагайкой своей.

И за мелькающей белой папахою К стану заклятых врагов, Как ураган, неудержной атакою Рвётся щетина штыков.

Девизами марковцев были: здравствует Россия!», «Крест и меч!», «Доблесть и скромность!», «Без страха и упрёка!», «Жизнь и смерть за счастье России!» Гибель прославленного генерала в бою 12 июня 1918 года стала трагедией для них. Именем Маркова сначала был назван его полк, а позднее дивизия Добровольческой армии. Ещё раньше, в апреле 1918 года, погиб генерал Корнилов, а 8 октября в Екатеринодаре генерал Алексеев.

Рейнгардт участвовал в 1-м и 2-м Кубанских походах в составе 1-го Марковского



Генерал С.Л. Марков

Офицерского полка, оставаясь в чине прапорщика и не занимая командных должностей. Весной 1918 года он был неоднократно легко ранен, а в начале мая 1918 года получил серьёзное ранение в живот в бою у станции Сысока близ станицы Павловской. Вернувшись после госпиталя в



Генерал А.И. Деникин

Добровольческую армию, он продолжал отважно воевать, получив в разное время ещё несколько ранений (всего он был ранен 15 раз). В феврале-марте 1919 года Юрий служил в Отряде особого назначения, охранявшем Великого Князя Николая Николаевича Романова, но уже в апреле его перевели в Роту Ставки Главнокомандующего А.И. Деникина. В это время Рейнгардт не раз нёс охрану у прославленного генерала, относясь к нему с большим благоговением.

В мае 1919 года Юрий вернулся в свой полк, будучи назначен начальником

команды разведчиков 4-го батальона. Когда в июне в г. Белгороде полк был развёрнут в дивизию, Рейнгардт стал

помощником командира 10-й роты, а через месяц — командиром 8-й роты в чине капитана. В этой должности он оставался до конца Гражданской войны, а в 1920 году в Крыму не раз временно командовал батальоном. Рейнгардт был удостоен знака отличия за 1-й Кубанский поход и ордена Святителя Николая Чудотворца за воинскую доблесть.



Орден Святителя Николая Чудотворца Добровольческой армии

К крымскому периоду, вероятно, относится трагический случай, оставивший глубокий след в душе Юрия Александровича. Тогда в селе Покровском, что между Керчью и Феодосией, жил с семьёй его отошедший от активной политической деятельности отец. Это были места, где особенно активно действовали красные партизаны, прятавшиеся в горах и каменоломнях. Видимо, именно они во время налёта схватили и расстреляли Александра Николаевича Рейнгардта. Вскоре населённый пункт был занят марковцами, и потрясённому Юрию довелось держать на руках ещё неостывшее тело отца, о чём он с болью рассказывал впоследствии своей дочери Наталье.

Сам Юрий Рейнгардт в Крыму был несколько раз ранен в упорных боях под Перекопом. Одно из ранений было довольно серьёзным. Об этом эпизоде он рассказал подполковнику В.Е. Павлову, который работал над историческим трудом «Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 годов». Павлов писал во 2-м томе книги, что 29 июня 1920 года в бою недалеко от немецкой колонии Гейдельберг марковские части понесли серьёзные потери. В разгар боя красные кавалеристы в сопровождении броневиков неожиданно зашли с тыла полка. Их ошибочно приняли за своих. Рейнгардт поднялся



Юрий Рейнгардт Фото 1926 года

им навстречу и был сражён очередью с броневика. Вечером его вместе с другими ранеными красные приказали привезти в колонию. Один немец, у которого незадолго до этого Юрий был на постое, узнал его, привёз к себе и укрыл, чем спас ему жизнь. Дня через три колонию занял Дроздовский полк, и Рейнгардт попал к своим. Немец рассказал, что 30 человек раненых красные взяли в плен и расстреляли.

Это была тяжёлая борьба, в которой немногие боевые друзья Юрия Рейнгар-

дта уцелели. Генерал И.П. Романовский¹, начальник штаба Добровольческой армии, говорил: «Мы не могли победить, всё было против нас. Но Россия потеряла бы послед-

 $^{^{1}}$ Слова И.П. Романовского приводятся в передаче его внучки Н.Г. Рейнгардт.

нюю честь, если бы среди неё не восстали люди, которые боролись против её унижения и порабощения!»

После поражения Белого движения Ю.А. Рейнгардт эвакуировался из Крыма вместе с однополчанами в Галлиполи, где все они пережили большие трудности, едва не умерли с голода, но выстояли духом. Следующим местом их служения была Болгария. Здесь в 1923 году марковцы приняли участие в подавлении коммунистического вос-



Марковцы на работах в Болгарии. Фото 1926 года

стания, а позднее работали на лесоповале. Жили они очень бедно. Юрий Александрович рассказывал дочери, как однажды проникшие в их убогое жилище грабители положили им на стол немного своих денег.

Сестра Галина, в замужестве Шинкаренко, в 1927 году помогла Ю.А. Рейнгардту перебраться в Бельгию, где она работала сестрой милосердия в военном госпитале. В Брюсселе Юрий Александрович, как и большинство военных первой волны русской эмиграции, устроился на работу таксистом. В этот же город через Сербию перебралась семья генерала Романовского, убитого в 1920 году в Константинополе, и молодой Рейнгардт познакомился с его дочерью Ольгой Ивановной. Их венчание состоялось в 1928 году в храме святителя Николая Чудотворца. Обладая прекрасным голосом, Ольга Ивановна многие годы была ведущим сопрано в хоре этого храма и несколько лет секретарём Приходского совета. Юрий Александрович

был человеком верующим, но совсем не церковным, и ни-какой работы в приходе не вёл.

Дочь, появившуюся на свет в 1929 году, молодые супруги назвали Натальей в честь матери Юрия Александровича, а сын, родившийся три года спустя, был назван Серге-

ем в честь генерала Маркова. Заработка таксиста было недостаточно для содержания увеличившейся семьи, и Ольга Ивановна подрабатывала, как могла: раскрашивала сувениры, была продавщицей на Всемирной Парижской выставке в 1935 году. Впоследствии Ольга Ивановна выдержала экзамены по бухгалтерскому учёту и работала по этой специальности.

Летом она обучала детей церковному пению в русском детском православном лагере. Дети Наташа и Серёжа с ранних лет часто посещали вместе с матерью службы, участвовали в жизни прихо-



Ольга Ивановна Рейнгардт, урожд. Романовская Фото 1945 года

да. Юрий Александрович очень любил детей, племянницу Ирину², а впоследствии внуков, писал для них забавные стихи и интересные сказки. Его перу принадлежат хорошие стихотворные переложения известных сказок «Аленький цветочек» Аксакова и «Дикие лебеди» Андерсена. Оставленные без существенных изменений сюжеты сказок Рейнгардт опоэтизировал.

Вершиной его творчества в этом жанре стала сказка-пародия «Одним махом семерых побивахом». Отправные идеи были им заимствованы из «Храброго портняжки» Андерсена и русской народной сказки «Фома Беренников». Героями сказки-пародии Рейнгардта стали Фомка Беренник, напоминающий Иванушку-дурачка, былинные бога-

² Ирина, дочь сестры Галины Александровны и её мужа Василия Михайловича Шинкаренко.

тыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, киевский князь Владимир Красное Солнышко, безымянный татарский хан с несметным войском и глуповатым богатырём-бугаём. Эта искрящаяся юмором сказка написана богатым, исконно русским языком. В некотором смысле противоположна ей мистико-фантастическая страшная повесть «Волк», посвящённая дочери Наталье.

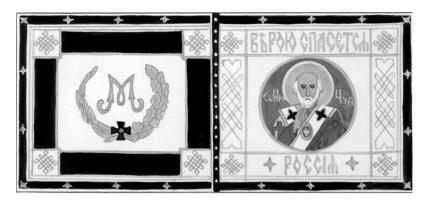
Безусловно, самой важной частью творчества Юрия Рейнградта являются рассказы-воспоминания о событиях 1917–1923 годов. По свидетельству дочери, не все рассказы сохранились: «Папа писал очень много, но писал для себя или же для нас — детей и внуков. Не придавая особого значения своим сочинениям, он их не хранил и, к сожалению, часто не оканчивал». Часть рассказов была

опубликована в журналах «Вестник первопоходника» (№ 20–25, 33), «Связь по цепям марковцев» (издавался однополчанином В.Е. Павловым) и «Первопоходник», членом редколлегии которых Юрий Александрович состоял в 1960-е годы. Он поддерживал дружеские связи со многими уцелевшими участниками Белого движения, отмечал с ними полковые праздники, хотя, по словам дочери, официально не был членом эмигрантских организаций.



Знак 1-го Офицерского генерала Маркова полка

Самое ценное в рассказах-воспоминаниях — живая передача обстановки как бы «снизу» (с точки зрения рядового очевидца) и образы простых участников событий, многие из которых у других авторов не упомянуты. В рассказе «Мой взвод» Юрий Александрович пишет: «На тускнеющем экране моей памяти ещё ярко проходят картины эпохи Белой борьбы и оживлённая толпа фигурантов, из которых ни один не играл сколько-нибудь ответственной роли, но участие которых создавало яркий фон для следовавших одно за другим происшествий. Со своих заранее



Николаевское знамя полков 1-й Марковской пехотной дивизии

распределённых мест не могла эта толпа фигурантов охватить всего разворачивавшегося на огромной сцене, вмещавшей и степи, и горы, и леса, и реки, и большие губернские города, и малолюдные хутора и деревеньки. Представляя собой лишь крохотную единичку в этой толпе, я и не собираюсь описывать ни общих картин, ни широких сцен, а только маленький кусочек, который был доступен моему наблюдению из отведённого мне тесного уголка». Повышает интерес читателя к рассказам—воспоминаниям оригинальный взгляд автора, умеющего наряду с трагизмом увидеть и комическую сторону некоторых событий, примером чего могут служить рассказы «Верблюд», «Я и свинья», «Аблиманте́с!», «Горлач сметаны», «Алёшка».

К рассказам-воспоминаниям о Добровольческой армии примыкает целый пласт лирики Юрия Рейнгардта: «Марковцы», «А.И. Деникину», «Старый гвардеец», «Песенка русских полей» и другие. Все они проникнуты любовью к Родине и её защитникам, ностальгией о России:

Не грусти ж, моя память, не плачь, А ещё и ещё мне поведай Про тяжёлую боль неудач, Про великую радость победы. Подтверди, что и впредь, как и встарь, Мы для Родины нашей не мертвы, На её лучезарный алтарь Принесли не напрасные жертвы. Говори, не устав повторять, Что не будет Россией забыто, Как была её каждая пядь Добровольческой кровью залита. Расскажи про исполненный долг В дни крушенья моральных устоев, Про мой траурный сказочный полк, Про его незаметных героев...

И в этом стихотворении, и в других Юрий Рейнгардт предстаёт как зрелый поэт, свободно владеющий разными стихотворными размерами и выразительными средствами поэзии. Есть в его творчестве и духовно-философская лирика, и немного любовной и пейзажной лирики, и пере-



Наталья Рейнгардт Фото 1972 года

воды любимых французских авторов (в основном пейзажных и духовных стихов), но особое место занимают юмористические и сатирические произведения (к примеру, «Басни Зои Колючкиной»). Многие произведения в этом жанре посвящены детям и внукам. Юрий Александрович продолжал участвовать в жизни своих взрослых детей, хотя развёлся с женой в 1947 году и жил отдельно.

Старшей дочери Наталье Георгиевне довелось работать личной секретаршей второй супруги бельгийского короля Леопольда III Марии Лилиан Бельс, в 1954–1956

годах она была переводчицей в бельгийском посольстве в Москве, потом ответственной за проведение концертов в Бельгийской филармонии. Она активно участвовала в жизни православного прихода, с 1956 года являясь псаломщицей в храме свт. Николая Чудотворца. Ещё в 1950 году Наталья Георгиевна основала в Брюсселе Русский любительский театр и с тех пор бессменно руководит этим коллективом.

Сергей Юрьевич Рейнгардт окончил агрономический институт, но работал не по специальности, в основном, гидом. В 1968 году он был рукоположён во диакона, затем в 1975 году возведён в сан протодиакона. Сергей Юрьевич 38 лет, до своей кончины в 2006 году, служил в храме Святителя Николая, где регентом хора с 1988 года является его жена Татьяна Михайловна, урождённая Судакова, по основной профессии воспитатель. В 1971 году Сергей Юрьевич побывал в России в качестве делегата Поместного Собора Русской Православной Цер-



Протодиакон Сергий Рейнгардт. Фото 2000 г.

кви, избравшего Святейшего Патриарха Пимена.

Юрий Александрович Рейнгардт любил заниматься со своими внучками Людой (Мимилкой) и Мариной, дочерьми сына Сергея, внучатым племянником Юрой³, названным в его честь, писал для них сказки, весёлые стишки и пьески. В них героями были сами дети под разными забавными прозвищами, их родители, пёс Трезорка, котёнок Пушок и, конечно, автор — «дед».

Юрий Александрович с детства любил и умел не только собирать грибы, но и сажать их. Неслучайно один из его семейных опусов называется «За грибами». Сюжет его прост и забавен — дети с родителями и дедом собирают грибы в замусоренном лесу:

Перед нами под крапивой Козелок растёт червивый. Рядом с рваною калошей И другой растёт — хороший, А у дедовых «копыт» Подберёзовик торчит. Чуть подалее — бок о бок С кучею гнилых коробок — Всем законам вопреки Разрослися синюки.

 $^{^{3}}$ Юрий — сын племянницы Ю.А. Рейнгардта Ирины от первого брака.

Вот и первый белый гриб, Будто к дереву прилип. Вкруг под кочкой и на кочке Всюду белые грибочки. Всё собрали без разбора, Все мешки набили скоро. Солнце и́дет на закат, Ехать надобно назад...

Особого внимания заслуживает пародийная юмористическая поэма «Не Женя Онегин», написанная онегинской строфой. Главным героем поэмы является ...спаниель Лайка. Среди других персонажей сам автор, он же хозяин Лайки, его близкий друг Ольга Владимировна Веселовская, её дочь Наташа, зять Женя и внук Жорка, а также другие знакомые. Избалованного шкодливого Лайку, или иначе Лаюка, в связи с появлением на свет малыша Жорки отдаёт автору семья Веселовских:

Друзья, восхвалим Провиденье, Прогнавшее кошмарный сон! В моё бесспорное владенье Теперь Лаюк переведён. Сияй же, солнце новой жизни, Своим лучом на Лайку брызни И укажи его стопам Счастливым следовать тропам! И да устелют эти тропы Ковры, сплетённые из роз, И аромат вливают в нос Нарциссы и гелиотропы, И чтобы каждый тот цветок Пах, как говядины кусок.

В поэме юмористически описаны забавные проделки Лайки и его с хозяином будничная жизнь, причём с подчёркнутой пародийностью:

Что в день грядущий мне готовить? Чего б такого изобресть? Коль недоволен будет, он ведь, Пожалуй, и не станет есть. Чем ублажить его сегодня? Что милости его угодней? Во власти этих тяжких дум

Брожу, нахмурен и угрюм. Стал равнодушен он к курёнку... Быть может, ныне на обед Ему поджарю я котлет, Так как вчера он ел печёнку? Причиной множества забот Является его живот.

Поэма «Не Женя Онегин» не просто поэтическая шалость. В ней в комической форме описана жизнь того слоя русской эмиграции в Брюсселе, к которому принадлежал автор, высмеяны пороки некоторых людей, погрядших в мещанстве.

Юрий Александрович Рейнгардт был талантливым человеком, на досуге он увлекался художественным выпиливанием и своими руками сделал множество красивых вещей, но главным делом его жизни до конца дней оставалось литературное творчество, основная часть которого публикуется в настоящей книге.

Юрий Александрович скончался 5 апреля 1976 года на 80-м году жизни. По свидетельству его дочери, «он жил и умер с любовью к России и страстным желанием вновь её увидать». Любовью к Родине, русскому народу, родному языку проникнуты все его произведения независимо от литературного жанра.

Протоиерей Павел Недосекин,

настоятель храма Живоначальной Троицы в Брюсселе и храма Живоначальной Троицы в Шарлеруа

Елена Николаевна Егорова,

литературовед, член Союза писателей и Союза журналистов России

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ

Рассказы-воспоминания

Штыковой бой

Скромная красная Анненская ленточка, кончающаяся некогда серебряной, а ныне почерневшей от времени кистью. Реляция «За штыковой бой». С невольной улыбкой рассматриваю я запечатлённую в памяти картину.

Наступающая и уже недалёкая осень бросила разноцветную пастель на листву кустов и деревьев и заволокла лёгким туманом свежий утренний воздух. Мне приказано произвести разведку и выяснить расположение немцев в разделяющем нас густом лесу, по другую сторону которого находится широкое озеро. За ним, согласно моей двухвёрстке, пологий подъём продолжается до проезжей дороги, а за нею снова начинается лес. Это было где-то в треугольнике Зегевольд — Венден — Нейе.

Взяв с собою двух унтер-офицеров и два десятка солдат, я направился через лес к озеру, рассчитывая с его берега увидать противоположную сторону и, может быть, оттуда выяснить немецкое расположение. Недавно прошедшие обильные дожди окончательно размягчили и без того сырую почву, и лёгкий треск попадавшихся под ноги мокрых сучьев не выдавал нашего присутствия. Внезапно взлетевший глухарь или испуганный нами олень мало беспокоили нас, являя собой обычные голоса жизни леса.

Как только сквозь кружево зелени голубоватым мазком проглянула поверхность озера, я с унтер-офицером Афониным тихонько пополз к берегу, оставив в чаще остальных. Там, на противоположном берегу, в полуверсте от нас были немцы. Несколько человек, сидя у самой воды, ловили рыбу, другие стирали бельё. По проходившей по скату дороге тянулась артиллерия. На скате расположились отдельные люди, многие без шинелей и оружия. Эта мирная картина, эта беспечность немцев с очевидностью указывали на то, что такая роскошь могла быть позволена при условии надёжного охранения со стороны леса. Тревожащий характер этого открытия вполне разделял со мной и Афонин. Поставленная нам задача требовала выяснения мест немецких застав.

Тот, кто знаком с работой разведчиков, знает, что они — глаза и уши армии и что успех их работы заключается не в открытом столкновении с противником, а в необходимости остаться незамеченными при выполнении поставленной им задачи. Одновременно это является гарантией их безопасности.

На моей двухвёрстке усмотрели мы единственную проходившую по лесу дорогу, отметили выбранное нами для наблюдения место и двинулись к нему со всеми предосторожностями. Избранный по карте пункт оказался в действительности ещё лучше, чем предполагалось: густые кусты калины, боярышника, орешника, оплетённые по низу длинными колючими стеблями дикой малины, создавали глухую стену с неглубоким рвом впереди, тоже заросшим высокой травой с протиснувшимися в неё жгутами ежевики. В пяти шагах прямо перед нами проходила лесная дорога с глубокими колеями, заполненными водой. Лёжа в густых зарослях, мы могли видеть её на протяжении двадцати саженей, так как, уходя в сторону немцев, она слегка сворачивала, а, ведя к нашим, скрывалась за сильно выдвинутыми вперёд кустами орешника.

Главная доблесть разведчика — терпение и напряженное внимание, которым мы и отдались. Ждать пришлось недолго. Вскоре послышалась немецкая речь, и мимо нас прошёл немецкий дозор из семи человек. По их громким голосам было ясно, что они считают себя в полной безопасности и не считают нужным принимать меры предосторожности. Минут через двадцать они прошли обратно. Отсутствие их продолжалось целый час, после чего они снова появились и снова вернулись через те же двадцать минут. Трижды пропустили мы их мимо себя. То, что немецкая застава находится где-то поблизости и, вероятно, у края дороги, уже не могло быть подвержено сомнению.

Как только прошёл возвращавшийся назад дозор, унтер-офицер Афонин перебрался в кусты орешника, закрывавшего вид на дорогу, где и остался наблюдать. Хорошо помню: взглянув на часы, я увидел, что стрелки показывают без четверти час, и почти в то же время услышал шум приближавшихся голосов. Около 30-ти человек немцев прошло мимо нас. Они шли гуськом, стараясь избежать шлёпанья по воде и держась на хребте противоположной

обочины. Впереди шёл офицер, о чем-то разговаривающий со следующим за ним унтер-офицером.

Разведка или смена заставы? Разрешение этого вопроса не заставило себя ждать. Не прошло и получаса, как прошли назад 30 человек, но не те, что прошли раньше. Тех вел офицер высокого роста, этих же — маленький и толстый. Смена!

Когда снова появился патруль и затем снова вернулся, неожиданно возле меня оказался Афонин.

— Господин прапорщик, немецкая застава шагах в пятидесяти впереди, за этими кустами. Два часовых на дороге. Шесть человек ходили сменять секреты на нашей стороне. Должно быть, столько же и по другую сторону. Дозоры у них, конечно, тоже есть. Стало быть, на заставе не больше пятнадцати душ. Не захватить ли? Пулемётов у них нет. Если сзади подойти? И нам назад легче уйти будет.

Причины, по которым я дал уговорить себя, зиждились на том, что моему земляку Афонину, с которым я был знаком с детства, я верил больше, чем самому себе, а также и потому, что обратное возвращение грозило обратиться в катастрофу.

Итак, моё войско было разделено на две части. Мы с Афониным и десять солдат должны были атаковать заставу, а унтер-офицер Мымрюк с остальным десятком должен был выйти к повороту дороги, прикрыть наше нападение в случае неожиданного появления немцев с тыла и, перейдя дорогу, отходить в направлении атакованной нами заставы.

До начала нашей атаки всё произошло так, как и предвидел Афонин. Немецкая застава располагалась на небольшой пролысине шагах в двадцати от дороги. Из кустов я наблюдал предмет моего вожделения — немецкого офицера. Он склонился над стоявшим на небольшом костре чайником. Казалось, сама судьба делает его лёгкой добычей. Увы, жизнь показала совсем другое!

Когда с громким криком и со штыками наперевес мы бросились из кустов, офицер исчез из моего поля зрения, а всё моё внимание обратилось на бегущего солдата, которому я и бросился наперерез. Тот увидел меня и, изменив направление, поскакал в лес. Я — за ним. Мы неслись,

разделённые четырьмя шагами. Я, более молодой, догнал его и, выбросив вперёд винтовку, надеялся проколоть ему спину. Мой удар в защищённую вещевым мешком спину немца имел неожиданный результат: штык не проколол мешка, а только толкнул немца в спину, отчего он побежал быстрее, а я, остановленный выпадом, принуждён был догонять его ещё раз. Так и бежал я за ним, повторяя один и тот же приём, имевший один и тот же результат.

После трёх-четырёх раз я вдруг впервые заметил, что мой противник не имеет никакого оружия и, очевидно, никакого другого намерения, кроме стремления бежать — всё равно куда. Следующая пришедшая в голову ясная мысль явилась в форме вопроса: зачем я бегу за ним? Тогда я остановился, переводя дыхание и едва сдерживая душивший меня смех. Мой немец тоже остановился, сел на землю, выгнув колесом спину и закрыв обеими ладонями уши, представляя собою фигуру полного отчаяния. Я подошёл к немцу и сел рядом с ним. Не знаю, слышал ли я биение собственного сердца, но то, что слышал, стучало чрезвычайно ясно. Немец не менял своей позы. «Не бойся, — сказал я ему, — я не сделаю тебе никакого зла».

Услышав немецкую речь, немец взглянул на меня, но, увидев перед собой русского офицера, снова закрылся руками. Некоторое время мы сидели молча. Я произвёл ещё несколько попыток заговорить с ним, но он или не слышал, или не был в состоянии отвечать. Так и застал нас разыскивавший меня Афонин. Этим и кончился «штыковой бой»!

Возвращение наше было триумфально. Во-первых, мы привели восемь человек пленных. Во-вторых, не имели никаких потерь. А в-третьих, Афонин вынул из немецкого пулемёта Шварцшлозе замок и ударом приклада исковеркал кожух пулемёта. Что же касается меня, то, откровенно говоря, я даже не видел, где стоял пулемёт, как и не понял, куда исчез немецкий офицер. Среди пленных его не было.

Весь проведённый нами «штыковой бой» больше напоминал детскую игру в догонялки, так как ни у одного из взятых пленных не оказалось никакого оружия, брошенного ими во время бегства. На мой недоуменный вопрос, почему они не оказали сопротивления, один из пленных ответил: «Я, абер ди руссен зинд ганц шреклихе лейте!» (Да, но русские такие страшные люди!).

Страх

Два одинаково сильных чувства владеют существом человека: Любовь и Страх! Казалось бы, противоположные, они не могут обойтись друг без друга и будто восполняют друг друга. Оба чувства имеют бесконечные оттенки и степени.

И нет ни одного чувства, которое не хранило бы в себе зародыш Любви и Страха. И это одновременно. Если мы рассмотрим любое чувство: долга, ответственности, ненависти, одиночества и так далее — то неизбежно откроем в них искомые нами элементы Любви и Страха. Но где-то на своих высших ступенях они исключают возможность идти рука об руку и властвуют нами единоправно.

И вот такой всепобеждающий Страх пришлось испытать и мне. Конечно, это не был реальный страх. Это был Страх мистический!

Ещё шестилетним ребёнком я впервые познакомился с мистическим страхом, когда продал ночью на перекрёстке двух дорог «чёрту» черного кота Ваську¹ и когда, год спустя, отправился ночью в лес рвать цветок папоротника. Позже, подростком, на пари приносил с кладбища оставленный там носовой платок. Обожал баллады Уланда и всякую «чертовщину». И кончил тем, что ничему больше не верил. Юношей был готов на всякие головоломные предприятия и любил ощущение победы над испытываемым мною страхом. Одним словом, робким я не был.

К моменту поступления в армию умение побеждать страх обратилось для меня в некий спорт, доведённый мною до совершенства. Это было нечто похожее на употребление одуряющего средства, дающего мне полное удовлетворение. Описывая характер декабриста Лунина в романе «Бесы», Ф.М. Достоевский указывает на его постоянное стремление побеждать в себе страх, обратившееся в необходимость нарочно искать опасных положений. Вероятно, нечто подобное произошло и со мной.

Такие эпитеты как «храбрый», «бесстрашный», отпускавшиеся по моему адресу моими соратниками, не выдерживали критического самоанализа. Приятно, но верно ли? Если храбрость есть способность побеждать в себе страх, то, конечно, я был храбр. Но уж бесстрашным никогда не был! Это состояние или, вернее, его отсутствие было знакомо мне и, пожалуй, в гораздо большей степени, чем большинству моих соратников, которым не приходилось бывать в тех положениях, что выпали на мою долю. Вообще, я был тем, чем был, и не стремился казаться тем, чем не был.

Достаточно подробно разбирая владевшие мною чувства, я хочу понять, каким образом я мог оказаться в положении, близком к сумасшествию, под влиянием испытанного мною страха. Именно страха, а не ужаса, кошмара или сильного внезапного испуга. Нет! Только медленно наползающего, всё разрастающегося непобедимого мистического Страха!

Вторая половина сентября 1917 года. Второй батальон 175-го пехотного Батуринского полка, после короткой «заварушки» (назвать это боем нельзя), занял замок Кейпен. Противник, 18-й драгунский полк немцев, отошёл в замок Ватрам, что в двух или трёх верстах.

Заняв Кейпен и выставив заставы, батальон батуринцев расположился на отдых. Офицеры занялись игрой в преферанс. Штабс-капитан Базлов зарвался при покупке и рисковал остаться без трёх. Его безнадёжное положение было спасено внезапно появившимся адъютантом, который передал мне приказание командира батальона полковника Негребецкого: прекратить кощунственный грабёж склепа, производимый солдатами. Игру пришлось оставить.

Вооружившись своим тяжёлым автоматическим пистолетом марки «Кольт», получив от кого-то из офицеров маленький электрический фонарик и взяв со стола коробку спичек, я вышел из замка и направился в парк, где в нескольких сотнях шагов находился фамильный склеп баронов Левис оф Менар.

Парк, который уже обратился в простой участок леса с заросшими травой дорожками, погибшими цветниками, нестриженными деревьями и даже кое-где появившимся папоротником, тем не менее, сохранял сказочную красоту. Когда я вышел наружу, порывы сильного ветра несли волны дождя, а высокие деревья тревожно шептались вершинами, дополняя любимую мною картину подошедшей осени. Без единой жуткой мысли шёл я к склепу, наслаждаясь окружавшей меня природой. А наступившая

ночь придавала всему ещё и особую, необъяснимую прелесть.

Фамильный склеп, куда я теперь направлял свои стопы, представлял собой продолговатый курган или вал, увенчанный крестом. С трёх сторон скрытый насыпанной землёй, он имел со стороны, выходившей в глубину парка, замурованную кирпичную стену в полтора человеческого роста высотой и около сажени шириной. Проникнуть в склеп с трёх сторон кургана не было никакой возможности, так что единственным входом могла быть только замурованная стена. К ней я и направился.

Мне даже не понадобилось зажечь мой электрический фонарик: чёрным пятном зиял невысокий и неширокий пролом в кирпичной стене. Я подошёл к нему и крикнул: «А ну, ребята, не хватит ли бузить? Вылазь!»

Ответа не последовало. Моё повторное предложение тоже не увенчалось успехом. Недолго раздумывая, я влез в пролом и оказался в полной темноте склепа. Приготовил пистолет и зажёг электрический фонарик. Слабенький свет скользнул по монументальным каменным саркофагам, стоявшим у правой стены склепа. Перевёл свет влево и увидел ту же картину. Картину величайшего спокойствия! В это время у меня не было и проблеска страха.

Но что могло подействовать на меня — это тяжёлый запах разлагающегося тела. Запах этот исходил из открытого алюминиевого гроба, на дне которого я разглядел маленький и уже оголённый человеческий череп, какую-то гнилую кучу тряпья и небольшое бурое пятно, источавшее убийственный запах тления. Крышка гроба лежала слегка в стороне. Остатки некогда имевшихся на ней украшений в виде алюминиевых ангелочков (Рафаэля) ясно виднелись на ней. Исчезли эти ангелочки и с боков гроба, равно как и алюминиевое Распятие, находившееся на крышке и оставившее только след своего пребывания. В точно таком же гробу в 1905 году хоронили мою мать, а я, семилетний ребёнок, утешаемый отцом, верил, что маме, окружённой ангелочками, будет теперь очень и очень хорошо! И такой гроб я узнал сразу!

Однако невыносимый запах заставил меня идти в глубину склепа. Освещая каждый саркофаг, я медленно дви-

гался вперёд, поражённый никогда не виданным мною зрелищем.

Данный мне электрический фонарик мало того что был слаб, но ещё вскоре обратился в слегка тлеющую «папиросу». Тогда мне пришлось прибегнуть к спичкам. И если до сих пор я не испытывал ничего исключительного, то с этого момента всё изменилось. Зажжённая мною спичка осветила один из саркофагов. Его крышка была сорвана, а находившийся в нём гроб оказался пустым. Неровное горение спички погнало по углам саркофагов потревоженные тени. Не могу сказать, что мне представилось, но отсутствие трупа поразило моё воображение.

Потушив спичку, я долго сидел в полной темноте с зажатым в руке пистолетом, ожидая чьего—то нападения, которое не произошло. Дальше? Дальше во мне ещё оставались проблески сознания и, держа себя в руках, я продолжал осмотр склепа. Но второго пустого гроба было достаточно, чтоб ужас окончательно овладел мною. Моей последней сознательной мыслью было: «Надо возвращаться, грабителей в склепе нет!»

Но выйти из склепа я уже не мог. Не было во мне больше ни сил, ни решимости. И до тех пор, пока оставалась последняя спичка, я обходил склеп, пугаясь перемещающихся теней и не рискуя приблизиться к пролому в стене. Но вот погасла и последняя спичка. Меня окружила полная темнота. Явление Дантова ада: гнилая сырость темноты, пропитанной смрадом разлагающаяся трупа!

«Уйди! Уйди!» — твердил мне какой-то внутренний голос. Но я не мог уйти. Я — уже не я. Как я уйду? Сумасшедшая, ненормальная мысль владела мною: если я полезу головой вперёд, кто-то или что-то схватит меня сзади!

И всё же я вылез задом вперёд, держа перед собой мой кольт, вероятно, чтобы угрожать исчезнувшим покойникам. В каком виде появился я перед моим денщиком Крюковым, я не помню, но на следующий день узнал, что он «отговаривал меня на святой воде»!

Продолжение этой истории хотя не имеет отношения к пережитому мною страху, всё же небезынтересно.

При нашем выступлении из замка Кейпен, где нас сменила 3-я дивизия, мне пришлось вернуться во второй батальон много позже, так как, находясь в должности вре-

менно исполняющего обязанности начальника команды траншейных орудий, я должен был ожидать смены моих миномётов, бомбомётов и пушечек Гочкиса. Присоединившись к батальону уже за замком Ватрам, оставленным немцами без боя, я начал обходить позицию, занятую батальоном, разыскивая наиболее выгодные места для употребления своих машин, предназначенных для массового уничтожения противника.

И вот на линии наших индивидуальных окопчиков я заметил стоявшего во весь рост человека. Кому и зачем понадобилось это нелепое фанфаронство? Подойдя ближе, я увидел мумифицированный труп, подпёртый со спины палкой. Один из пропавших из гроба покойников!

Пять или шесть революционно настроенных солдат, находившихся позади в большой вырытой ими яме, пытались успокоить моё возмущение: «Да яму ничаво! Он усе равно померший!»

Моё указание на то, что стоящий во весь рост человек может привлечь внимание немцев и вызвать огонь их артиллерии и, кроме всего прочего, определяет линию наших позиций, не произвело на них ни малейшего впечатления, пока просвистевшая над головой и разорвавшаяся близко шрапнель не убедила их в справедливости моих опасений. Мумия была снята, а вскоре затем подверглась сожжению.

Вечером при возвращении в команду мой денщик преподнёс мне алюминиевую ложку. Как выяснилось из его слов, «у четвёртой роте их цельную кучу напекли». К этой ложке я не притронулся!

Юность

Кто из читающей молодёжи не сходил с ума от вышедшей в 1912 году повести Евгения Николаевича Чирикова «Юность»? Кто из гимназисток старших классов не воображал себя героинями этой повести? Которой из них не задавал я один и тот же вопрос: «Катя! (или другое имя), скажите, Вы тоже Калерия²?» Развелось тогда этих Калерий по всей России больше, чем блох на дворовой собаке. И конец этих Калерий наступил так же скоро, как и их появление: они потонули как-то сразу, захлебнувшись в собственном множестве. Обратились в толпу и растоптали друг друга. Тогда изменился и мой вопрос. Теперь он звучал иначе: «Скажите, Маня (или Катя), Вы ведь — «раздавленная» Калерия?»

Эти вопросы как в первоначальной, так и в последующей редакции, доставили мне множество врагов, доходивших в своей ненависти ко мне до кровомщения. А между тем я, как и все другие мои сверстники, был также без ума от этой повести, от её свежести и радости бытия, сквозящих в каждой строчке. Но не идеал искал я себе в её героях. Сам я раз и навсегда был побеждён давно выбранным мною героем, конечно, тоже книжным и, конечно, только потому и избранным, что он не походил на меня ни капельки. Юность!

Прошло пятьдесят лет. В Америке вышла «Юность», и я прочёл её снова. И снова ощутил то же, что и пятьдесят лет тому назад, только теперь она отозвалась во мне таинственным образом, связавшись с моей жизнью, и прочно воцарилась в моей памяти. Я встретил Калерию! Нет, это не была героиня повести. Это была одна из многочисленных «раздавленных» Калерий. Одна из тех, кто больше всего возненавидел меня за ехидство моего вопроса.

Наша встреча состоялась в самом неожиданном месте и в самой невероятной обстановке. Я только что прибыл в Новочеркасск и шёл по улице, разыскивая Алексеевскую организацию³. Нигде на вокзале, стены которого пестрели афишами всевозможных формирующихся отрядов самого фантастического характера, не нашёл я никаких признаков её существования. Поднявшись к собору и рассчитывая найти хоть кого—нибудь, кто мог бы указать мне её местонахождение, я обратился к шедшему мне навстречу офицеру. Мой далеко не презентабельный вид, а, может быть, и скромная боязливость вопроса позволили спрошенному мной офицеру не только не ответить на мой вопрос, но и выразить своё отношение к происходящим событиям: «А Вам, очевидно, делать нечего? Убирайтесь—ка Вы скорее вон отсюда!»

Злоба, прозвучавшая в его голосе, поразила меня и заставила быть более осторожным. Уже обращение на «вы» указывало на то, что спрошенный мною не только не сочувствует зарождающейся организации, но и враждебен

ей. И, кроме всего прочего, он угадал во мне офицера. Моё тяжелое положение усугубляюсь ещё и тем обстоятельством, что в моём кармане — если бы он существовал, а не представлял собою изорванную тряпку — могли только находиться или вошь на аркане, или блоха на цепи, так же, как и я, лишённая намёка хоть на какой–нибудь документ. В опускающихся сумерках угрожающе стали сгущаться тени моей ситуации: «Куда пойдёшь? Кому скажешь?»

И вот тут-то и произошла эта роковая встреча. Навстречу мне шла худенькая женщина с маленьким чемоданчиком в правой руке. Я шагнул к ней, она слегка попятилась, посмотрела на меня с нескрываемым испугом, остановилась и прижалась спиной к живой изгороди. Желая успокоить её, я протянул вперёд руку, делая успокоительный жест, но она, видимо, не поняла его и вытянула вперёд руки с зажатым в них чемоданчиком, как бы желая защититься им от меня. Посреди неширокой крышки отчётливо сияла эмблема Красного Креста. Я и до сих пор не знаю, кто из нас был более испуган: она или я?

- Сестра, ради Бога, где находится Алексеевская организация? громко крикнул я, боясь, что она бросится бежать. Но она опустила свой чемодан и быстро шагнула комне.
- Не так громко, тихо сказал она. Вас услышат. Ступайте прямо. Это здесь, совсем близко в лазарете. Вы... с видом заговорщицы шептала она скороговоркой: Вы... и сразу оборвала.
- Вы? смотря на меня во все глаза, вскрикнула вдруг:
 - Вы?
 - Валя!
- Да, да, это я! И Вася тоже здесь, он там, в лазарете! Идёмте, идёмте скорее!

Валя довела меня до дверей лазарета, не переставая болтать всю дорогу, оказавшуюся чрезвычайно короткой. Из её рассказа я узнал, что она вот уже семь дней в Новочеркасске работает сестрой в госпитале Общества донских врачей, что добровольцы должны скрываться под видом раненых и что их, может быть, выдадут большевикам, что она носит свой маленький чемоданчик с красным кре-

стом, для того чтобы на неё не напали, что брат её Вася приехал с ней, но что она больше его не видала со дня приезда. У дверей лазарета мы распрощались. Моё предложение проводить её она отклонила, испуганно сказав:

- Да Вы с ума сошли!
- Валя, улыбнулся я ей на прощанье, а ведь Вы больше не Калерия!

И в первый раз с момента нашей встречи весёлая улыбка озарила её юное личико. Она передёрнула плечами, хотела что-то возразить и вдруг засмеялась:

— Да ведь и Вы больше не Николай Ставрогин⁴!

Я посмотрел вслед её удаляющейся фигурке и подумал: «Оса!» Почувствовав на себе мой взгляд, она обернулась в последний раз и исчезла в тёмной уже перспективе улицы. Я открыл дверь и вошёл в лазарет.

Сведения, сообщённые мне Валей, хотя и были сильно преувеличены, однако имели и большую часть истины. Условия личной безопасности после разоружения Новочеркасского гарнизона изменились в лучшую сторону, и мы были переведены в казармы.

В первый же день на вечерней поверке я невольно обратил внимание на вызывавшиеся имена моих соратников. Все известные имена героев войны 1812 года звучали в моих ушах, имена, знакомые с детства: путешественников, писателей, поэтов, судейских, министров и так далее, вперемешку с простыми, исконно русскими именами. Но одно из них привлекло моё особенное внимание:

- Доброволец Чириков Евгений!
- Злесь!

Сейчас же после поверки я подошёл к командиру 4-й роты поручику Кромму и попросил его указать мне добровольца Чирикова.

- Женя! окликнул Кромм стоявшего неподалёку подростка. Тот подошёл ко мне и вытянулся демонстративно, подчёркнуто в струнку.
 - Вы не родственник Евгения Николаевича Чирикова?
 - Это мой папа.
 - А Евгений Николаевич в Новочеркасске?
 - Нет, сейчас он в Москве, но должен приехать сюда.

Но мне не удалось встретиться с Евгением Николаевичем. Армия ушла в 1-й Кубанский поход⁵. Не видел я боль-

ше и Валю. Она осталась в госпитале. Брат её был убит под Усть-Лабинской.

При реорганизации армии 4-я рота стала 4-м взводом в 1-й роте, где в 3-м взводе находился и я. Изредка в походе мне приходилось встречаться с Женей Чириковым, но почти за весь поход не пришлось перемолвиться с ним ни единым словом. Да и не до слов тогда было!...

Но вот и Екатеринодар. Кончилась переправа на пароме у станицы Елизаветинской. 1-ый Офицерский полк присоединился к штурмующим город частям.

Впереди невысокого вала, окружающего только что взятые нами артиллерийские казармы, разметались на земле трупы убитых добровольцев. Но есть и раненые, беспомощно лежащие под ураганным огнём отбившего последнюю атаку противника.

«Безумству храбрых поем мы песню! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» С укрывающего от огня вала бросается вперёд поручик Кромм к лежащему в сорока шагах впереди раненому, хватает его и валится рядом. Теперь лежат они оба в сотне шагах от красных, обречённые на неизбежную смерть. Кто рискнёт подать им помощь?

«Кому не люба на плечах голова? Чьё сердце в груди не сожмётся?»⁷ Не сжалось оно в груди добровольца 4-го взвода Серёжи Иевлева. Нет, скорее, именно сжалось, скорбным воплем вырвалось из груди его и слезами покатилось по лицу. В припадке безумного отчаяния, закрыв руками голову, перепрыгнул он через вал и бросился к двум раненым. Добежал до них и упал рядом с ними. Убит? Ранен? Нет! Он схватил поручика Кромма, потом почему-то бросил и, подхвативши подмышки другого, потащил его к валу, подобно муравью, волочащему большую тяжесть, отступая задом и таща по земле товарища. И дотащил! Это Женя Чириков. А Иевлев уже снова бросился за вал и снова оказался рядом со своим взводным и, тем же приёмом, потащил его к валу. Не дотащил. Упал! Опять вскочил на ноги и снова пытался тащить, но уже одной рукой. Кто-то бросился ему на помощь, и вдвоём они доволокли Кромма. У Чирикова и Кромма раздроблены ноги, у Иевлева — рука.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что на моих глазах совершилось чудо. Как не были они убиты все трое?

Как мог дважды добежать до них Иевлев и притащить самостоятельно одного из них? Это походило на то, как если бы кто-либо вздумал перебежать через улицу во время проливного дождя и остаться сухим, достигнув противоположной стороны. Да, это было чудо! Я не раз задавал себе вопрос: бросился бы я спасать их, если б имел тогда возможность? Хочу думать, что да. Впоследствии уже под Орлом я взял к себе Иевлева и всячески старался не пускать его в бой, тем более что его раздробленная рука почти полностью потеряла способность двигаться. И каждый раз он оказывался возле меня, несмотря на моё категорическое запрещение.

Женя Чириков, также как и поручик Кромм, потерял ногу. Когда я спрашивал потом Иевлева, почему он схватил сперва поручика Кромма, а потом оставил его и вытащил первым Женю, то он ответил, что Кромм приказал сперва спасать Женю.

Одно за другим тянет свои неразрывные звенья длинная цепь воспоминаний. При отходе из Екатеринодара Женя Чириков был взят на подводу, а Кромм как безнадёжный оставлен в станице Елизаветинской. Я встретился с Женей в мае в Новочеркасске, а с Кроммом по окончании 2–го Кубанского похода⁸ в Екатеринодаре. Оба безногие. Но до своего тяжёлого ранения под Сысокой я не имел ни малейшего представления об их судьбе. Она ушла из моего поля зрения и до конца апреля ничем не напомнила о себе. Но вдруг снова встала передо мною в полузабытом образе «раздавленной» Калерии и спасённого Иевлевым Жени Чирикова.

Первым видением, осознанным мною, было большое белое пятно, первым ощущением — прикосновение к моей руке чего-то приятно тёплого. Потом какие-то неясные звуки коснулись моего уха, и я понял, что кто-то говорит рядом со мною. Это я запомнил очень хорошо.

Быстро возвращающееся сознание объяснило мне, что большое белое пятно — это потолок, что кто-то держит меня за руку и говорит мне что-то, чего я не могу понять. Потом всё вдруг начало качаться перед глазами, перестало и снова начало качаться. Всё это казалось мне ужасно странным, но не было неприятно.

Но вот перед моими глазами стали появляться знакомые лица, смотревшие почему-то на меня сверху вниз.

Первый, которого я узнал, был капитан Миша Смиренский, потом поручики Недошивин, Успенский, капитан Стасюк, Женя Чириков. При виде Жени сознание вернулось ко мне окончательно. Теперь я понял, что лежу на спине, на кровати, что, очевидно, это госпиталь. Но как и почему оказался я здесь, не знал. Странным показалось мне и то, что меня окружали офицеры нашей роты. Моя память остановилась в тот момент, когда у Сысоки передо мной вырос широкий фонтан взлетевшей чёрной земли, озарённый пламенем. Вспомнил я также, что не видел дыма и не слышал треска разрыва. А теперь госпиталь, а между ними — ничего⁹...

Мой взвод

Шли бойцы из железа и стали, И как знали они, что идут умирать, И как свято они умирали! А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе»

На тускнеющем экране моей памяти ещё ярко проходят картины эпохи Белой борьбы и оживлённая толпа фигурантов, из которых ни один не играл сколько-нибудь ответственной роли, но участие которых создавало яркий фон для следовавших одно за другим происшествий. Со своих заранее распределённых мест не могла эта толпа фигурантов охватить всего разворачивавшегося на огромной сцене, вмещавшей и степи, и горы, и леса, и реки, и большие губернские города, и малолюдные хутора и деревеньки. Представляя собой лишь крохотную единичку в этой толпе, я и не собираюсь описывать ни общих картин, ни широких сцен, а только маленький кусочек, который был доступен моему наблюдению из отведённого мне тесного уголка.

Нет, я хочу навсегда зафиксировать в моей памяти образы тех людей, с которыми судьба соединила меня и навек отвела им место в моём сердце. Не собираюсь я описывать их как каких-то исключительных героев, а только как простых людей с их хорошими и плохими сторонами, а иногда лишь несколько чёрточек их характеров или обсто-

ятельств их жизни и смерти. Все они мне дороги. И все они — и живые, и мёртвые — для меня живы. Эти наброски — последние цветы, приносимые на алтарь, воздвигнутый в их память!

Капитан Згривец

Ему лет 35, а, может быть, и больше. В офицерский чин произведён за боевые заслуги. В 1-ой офицерской роте он занимает должность взводного командира. Образование начальное и вряд ли законченное. Среднего роста, сильное мускулистое тело, голова напоминает яйцо, с какой бы стороны на неё ни смотреть. На гладко выбритом лице небольшие, коротко подстриженные усы. Гимнастёрка сидит на нём аккуратно, но как-то по-солдатски, без офицерского щёгольства. С нами он обращается строго и часто на «ты». В отличие от остальных офицеров взвода, для нас он не имеет имени и отчества, а всегда только «господин капитан». В разговоры, происходящие между офицерами, никогда не вмешивается, но постоянно и внимательно прислушивается ко всему, что говорится. Любопытен же до крайности. Если случается, что кто-либо из офицеров скажет что-нибудь, что ему не по душе, то он сейчас же обрывает говорящего: «Ну, ты! Ты, слышь! Не того!» Взвод любит его, но никогда не упускает случая посмеяться над ним. Но не прямо: это слишком опасно! Для этого выработана особая система: собирается кучка офицеров, начинающих нести невероятный вздор, как только появляется капитан Згривец и начинает прислушиваться, силясь понять, о чём говорят. Не проходит и минуты, как все разражаются неудержимым хохотом. Капитан Згривец выпрямляется с видом оскорблённого достоинства и сейчас же приказывает чистить винтовки «заместо чтоб языки чесать!»

Попав в его взвод, я никак не мог понять, каким образом этот едва грамотный человек мог оказаться на командной должности. Ко мне, как и к остальным прапорщикам, он обращался исключительно на «ты», и это меня коробило. Невзлюбил же он меня с первых дней, главным образом, за мою немецкую фамилию: «Слышь, что там ни говори, а Лингвардт всё-таки немец». А также за то, что во

всех случаях коллективного издевательства я был непременным участником.

Но не прошло и недели, как мне вдруг стало совершенно очевидно, что только капитан Згривец и никто другой из старших офицеров роты не имел большего права и больших оснований командовать офицерским взводом в офицерской роте. Опишу этот трагический, хоть и неприятный для меня случай.

Наш батальон стоял в то время на Барочной улице в Новочеркасске. Каждую ночь назначались офицеры для связи с другими частями, разбросанными по городу. Новочеркасск кишел большевиками и разложившимися казачьими частями. Офицеры, отправляемые для связи, подвергались нападениям на пустынных улицах. Сперва случаи убийства их были редки, но потом нападения участились и, наконец, приняли угрожающие размеры. Связь почти прервалась. Трупы убитых офицеров—добровольцев на утро находили на улице. На патрули не хватало народа. Надо было найти способ самозащиты. Но какой?

Собравшись в помещении роты, мы горячо обсуждали возможные меры. Капитан Згривец оказался возле нас, с любопытством прислушиваясь. Он, видимо, находился в чрезвычайном волнении, но не произносил ни слова. Потом неожиданно прошёлся раза два между койками и, остановившись перед нами, вдруг сказал: «Ну, вы, слышь, того...» Он замолчал и опять зашагал, видимо, что-то обдумывая. Снова остановился: «Ну вот, слышь. А я вам скажу!» Все молчали. Он страшно волновался, махнул рукой и опять зашагал. Наконец, очевидно, решившись высказать свою мысль, подойдя к нам, произнёс:

- Потому, слышь, бьют, что мы не бьём!
- Да как же их бить, когда они сзади нападают?
- А вы вот, слышь... Вот как пойдёшь, возьми гранату в карман.
- Да ведь убивают сзади, из-за плетней, господин капитан, тут и граната не поможет!
- Ты, слышь, думай. Тебя оно, конечно, убили и с гранатой, а она механизм, она за тебя и их побьёт.
 - Это как же?

Предложение капитана Згривца заключалось в следующем. Посланный для связи офицер должен был идти без

винтовки с ручной гранатой в кармане. Граната, приготовленная для взрыва, должна была быть зажата в руке. В случае внезапной смерти пальцы, без сомнения, разожмутся и отпустят рычаг, так что взрыв произойдёт через секунду после смерти.

В первый момент, когда предложение капитана Згривца было понято, все замолчали. Поручик Паль, кажется, как всегда не совсем трезвый, резюмировал следующим образом: «Новый тактический приём уничтожения противника с того света! Не знаю, не пробовал». Все засмеялись.

Не помню, в тот же вечер или на следующий, связь была назначена от нашего взвода. Шёл прапорщик Володя Алфёров. В случае его смерти, должен был идти я. Алфёров, 19-тилетний мальчик, хорошенький, как ангелочек, чуть не последнего выпуска «керензят», застенчивый и скромный, натянул на себя шинель, подошёл к пирамидке с винтовками, постоял с минуту и, не взяв винтовки, направился в канцелярию, где находился Згривец. Через минуту он вышел оттуда и прямо пошёл к выходной двери, за которой исчез. Згривец, вышедший за ним из канцелярии, посмотрел ему вслед, и мы видели, как он перекрестился.

Ей Богу, я не совру, если скажу, что вдруг что-то тяжёлое, как бы давящее, разлилось по всему взводу. Офицеры сидели на койках, опустив головы. И вдруг, как будто в ответ на общее напряженное молчание, раздался недалёкий глухой взрыв. Первым, схватив винтовку, бросился вон капитан Згривец, за ним мы все. В сотне шагов от казармы лежал труп прапорщика Алфёрова. Неподалёку от него мы поймали трёх тяжело раненых большевиков и тут же прикололи. Четвёртого, местного парикмахера, нашли час спустя у него в доме по кровавому следу. Его расстреляли за тюрьмой. Алфёрова принесли в казарму. Труп его был страшно изуродован, одна нога едва держалась на обрывках мускулов. Голова была проломлена кистенём. Этот кистень мы нашли под плетнём позже.

Когда кончилась первая суматоха, Згривец обратился ко мне:

— Ну, ты, слышь, чего ж? Тебе в связь.

Я оделся под явно враждебным взглядом Згривца. Этот враждебный взгляд я объяснил себе ложно, предполагая, что он подозревает меня в трусости. «Ну, погоди, — думал я, — увидишь, что я не трус!» И взял свою винтовку.

В ту же минуту Згривец подскочил ко мне. Глаза его горели, голос пресекался:

— Ну ты, слышь... Это как же? Ты теперь это что же?

Я мгновенно понял свою ошибку, и мне стало безумно стыдно. Поставив обратно винтовку и обернувшись к Згривцу, я сказал:

- Господин капитан, разрешите получить гранату.
- Ну, вот то-то же, а то, слышь...

И, не докончив, пошёл в канцелярию роты, а я за ним. Когда он достал гранату из ящика, стоявшего под столом, то передал мне её не сразу, а как будто колеблясь. Это колебание ещё более смутило и оскорбило меня. Я протянул руку и почти сам взял у него гранату, вытащил из неё предохранительное кольцо и, положив его на стол, повернулся, чтобы скорее уйти.

— Я, слышь, может и не так... Ты, слышь, может тоже не того...

Я вышел... Скажу, что с того дня убийство офицеров связи прекратилось окончательно. А лично я безумно полюбил Згривца. В маленьком поминальнике, найденном в его гимнастёрке уже после его смерти, я видел на первой странице имя «раба Божьяго Владимира».

Первый бой Сводного Офицерского батальона. Мы наступаем у станции Гуково. В открытой степи по гололедице бежит к станции наша рота. Капитан Згривец находится шагов на десять позади своего взвода, но к моменту подхода к железнодорожным посадкам, за которыми расположились большевики, он неожиданно оказывается впереди. С пятидесяти шагов расстояния он бросается на находящегося против нас красного пулемётчика, который не перестаёт строчить, и вдруг летит кувырком в снег. Огонь пулемёта сосредотачивается на нашей небольшой группе. Чудится, будто дышишь горячим воздухом. Мы слились с землёй. Внезапно пулемёт замолкает. «Задержка!» — кричит Згривец, снова бросается вперёд. Держа винтовку подмышкой левой руки, а кистью охватив ствольную накладку, он, действуя ею как тараном, закалывает красного

пулемётчика. В происходящей затем рукопашной схватке я, как сквозь сон, вижу Згривца по нескольку секунд то здесь, то там на платформе станции. Мне некогда присматриваться. Я вижу перед собой толпу большевиков, может быть, десятка два, и только двух-трёх наших, работающих штыками и прикладами.

Когда, наконец, кончился рукопашный бой и Згривец собрал свой взвод, тут только выяснилось, что там, у посадок, пуля красного пулемётчика пронизала кистевой сустав его правой руки. Всю рукопашную схватку он провёл одной левой, действуя и штыком, и прикладом. До самой его смерти под Сосыкой кисть его правой руки оставалась неполвижной.

Немного спустя собравшийся вместе взвод обсуждал перипетии боя. Кто-то выказал восхищение храбростью Згривца. Неожиданно вынырнувший откуда-то Згривец выступил вперёд и, тыча себя пальцем в грудь, гордо сказал: «Ну, а как же! Я офицер, а она... — и отмерив большим пальцем конечный сустав своего мизинца, презрительно закончил, — пуля!» Помню неудержимый смех, охвативший нас всех. Згривец обиделся, выругался и отошёл.

Но я вспоминаю об этом маленьком эпизоде для того, чтобы показать то огромное, что выросло из этого незначительного факта. А было так. Ещё гремели отдельные «ликвидирующие» выстрелы, когда ко мне подошёл корнет Пржевальский и позвал меня за собой. Мы вышли за платформу и зашли в густые железнодорожные посадки.

- У Вас есть индивидуальный пакет?
- Так точно.
- Перевяжите мне рану.
- Разве Вы ранены?
- Так, пустяки!

Он снял с себя шинель, скинул китель и стянул рубашку. Маленькое входное отверстие от пулевого ранения чуть-чуть кровоточило.

- Господин корнет, отчего Вы не обратились к Пелагее Иосифовне (Плохинской, сестре милосердия)?
- А Згривец к кому-нибудь обращался? ответил Пржевальский.

Признать открыто превосходство капитана Згривца для Пржевальского было невыносимо. Он, конечно, пони-

мал, что у Згривца всё вытекало как-то само собой из самой его натуры. И вот он, корнет, тянулся за этой натурой, хотя не признался бы в этом даже самому себе.

«Згривец — воспитатель?» — с удивлением задал я себе вопрос. И ответил на него утвердительно. Да, он был им помимо собственного желания тоже из самой глубины своей натуры и, вероятно, первый же изумился, если бы ему об этом сказали.

Неудивительно, что за всё пребывание капитана Згривца в роли взводного командира — он так и остался им до смерти — я не знаю ни одного случая грабежа или самой малейшей распущенности, ни одного случая проявления не только трусости или заминки, но и просто нерешительности. В его взводе у всех — от командира отделения до последнего добровольца — царил его дух, и личность его импонировала всем.

Прапорщик Быховец

В рядах офицеров моего взвода никто не выражал с такой отчётливостью и ясностью и свой личный облик, и принадлежность к породившей его среде со всеми её понятиями, речью, жестами, внешним обликом и традициями, как прапорщик Быхове́ц. Одного взгляда было достаточно, чтобы безошибочно распознать в нём семинариста, очевидно, сына какого-нибудь захудалого священника, а, может быть, и дьячка. Его крепкая, но как будто обтёсанная топором фигура, как нельзя лучше соответствовала определению: неладно скроен, да крепко сшит. В нём не было ничего безобразного, что могло бы притягивать нездоровое любопытство, как это часто случается при встрече с людьми с каким-нибудь физическим недостатком. Совсем нет! Скорее всего, его можно было назвать деревенским увальнем с медленными движениями физически неразвитого тела, но с присущей таким увальням медвежьей ловкостью.

Мне он почему-то напоминал Митьку¹⁰ из «Князя Серебряного» А.К. Толстого — впечатление, усилившееся после того, как я увидел его в бою под Усть-Лабинской, где мы сошлись с красными врукопашную. Быховец, плюнув в руки и ухватив за штык свою винтовку, начал приближаться

к противостоящим нам «товарищам», скача как—то боком и приноравливаясь нанести сокрушительный удар. Кроме того, его сходство с Митькой подтверждалось необыкновенным благодушием, в котором он не уступал, а, может быть, даже превосходил Митьку, и если не обладал сказочной силой последнего, то все—таки недалеко отставал от него.

Лицо его принадлежало к типу тех лиц, которые не поддаются описанию: тринадцатое на дюжину. Но что невольно привлекало внимание — это выражение его глаз. Если правда, что глаза — зеркало души, то я бы сказал о Быховце: душа, стоящая перед Богом. В его глазах было что-то до того светлое, до того умилённое, до того покорное, что долго будут вспоминаться эти глаза.

Произведённый в звание по окончании какой—то школы прапорщиков чуть ли не за 15 дней до захвата власти большевиками, он или плохо усвоил, или совсем не усвоил хотя бы начатки военного искусства и признавался в этом с полной откровенностью, ничуть не обижаясь на сыпавшиеся на него замечания и частые взыскания.

Никогда не видавший фронта Великой войны¹¹, не слыхавший свиста пуль, он сразу же оказался в армии генерала Корнилова среди офицеров, видавших виды. На мой вопрос, как ему удалось проникнуть на Дон, он, не вдаваясь в подробности, ответил: «А пришёл». В то время многие офицеры различно определяли причины, толкнувшие их на вступление в Добровольческую армию, хотя, конечно, причина была одна и та же. Например, корнет Пржевальский утверждал, что он прибыл в армию, потому что ему «надоели семечки» (подсолнечная шелуха), которые он считал олицетворением революции. Быховец объяснял причину своего прибытия с поразительной ясностью: «Защищать веру Христову».

Ещё до 1-го Кубанского похода Быховец приобрёл довольно оригинальную известность в рядах своего взвода, благодаря одной неизвестно откуда явившейся привычке. Заключалась она в том, что при заряжении винтовки он неизменно, вставив пятый патрон в ствол, осторожно спускал курок, пренебрегая предохранительным взводом. Результат бывал всегда один и тот же: стукнувшись прикладом о землю, винтовка посылала пулю в небо, а находив-

шиеся по соседству офицеры после первого испуга и недоумения посылали весь известный им лексикон нецензурных слов по адресу прапорщика Быховца.

Начало этой серии случайных выстрелов относится ко времени нашего пребывания в Ростове. Обыск на Темернике. По сведениям нашей контрразведки, прибывший из Петрограда большевистский комиссар скрывается в одном из домов, который окружил наш взвод. Приказание гласит: «Быть начеку! Ничем не нарушать тишину ночи. Взять живым!» И вот в самый патетический момент раздаётся оглушительный выстрел. Поймали? Увы, этот выстрел не означает поимку: по ещё не известной тогда причине выстрелила винтовка прапорщика Быховца!

Задонье. Отделение третьего взвода несёт караульную службу на электростанции. Часовым в машинном отделении стоит прапорщик Быховец. Неожиданный громкий выстрел часового взбудораживает весь караул: нападение! Ничуть не бывало — выстрелила винтовка прапорщика Быховца. Однако тогда же была выяснена причина столь самостоятельного поведения этого, вообще говоря, послушного оружия.

Первый Кубанский поход. После очередного выстрела вне всяких норм и понятий взбесившийся капитан Згривец после чудовищной угрозы «поставить под винтовку» назначил Быховца вне очереди внешним дневальным. Тот покорно снёс наказание и утром, возвратившись в хату, поставил свою винтовку. В тот же момент грянул выстрел! В другой раз, тоже возвратившись из внеочередного караула, опять—таки понесённого за самостоятельное действие его винтовки, Быховец не успел ещё поставить её на пол, как Згривец овладел ею и открыл затвор. Из казённой части ствола выскочил находившийся в ней патрон, а курок был осторожно спущен!

Эта незыблемая верность самому себе была вознаграждена Згривцем переименованием прапорщика Быховца в прапорщика «Пульни». Слово это происходило от народного слова «пулять» (вместо «стрелять») и срослось с Быховцем как нельзя лучше. Да и сам он находил его подходящим и не обижался.

Я не думаю, что он что-либо понимал в боях, но никогда не отставал и добросовестно подражал другим. Во

время боя ни одного чувства не изображалось на его спокойном и благодушном лице: ни страха, ни беспокойства, ни озлобления. Мне кажется, что его полное равнодушие к собственной судьбе покоилось на его глубокой вере. Во всяком случае, я неоднократно замечал, что перед началом боя он крестился, после чего бывал совершенно спокоен. По окончании опять крестился. Мы нашли в нём достойного и верного боевого соратника, на которого можно было положиться даже в самой тяжёлой обстановке.

Бой кончен. Станица и станция взяты. Из списков наличного состава роты ротный писарь прапорщик Пелевин вычеркнул семь фамилий, поставил рядом с ними крест и своим чётким почерком сделал надпись: «24-е марта, 1918-го года. Станица Георгие-Афипская». Одной из них была фамилия прапорщика Быховца.

Поручик Якушев

Среднего роста, в длинной шинели, в узких кавалерийских сапогах со шпорами и более высокими каблуками, он кажется выше и стройнее, чем есть на самом деле. Офицер мирного времени, выпуска 1911 года, фронтовик. Нашивок, означающих ранения, не носит, хотя и ранен уже много раз.

После очередного ранения был переведён в 3-й Заамурский полк, где и застала его революция. Вместе со своим однополчанином корнетом Пржевальским прибыл на Дон и вступил в Алексеевскую организацию в начале декабря 1917 года. Его раннее прибытие в Новочеркасск до установления большевистского контроля на железных дорогах позволило ему сохранить свой офицерский вид, что выгодно отличало его от большинства офицеров 5-ой Сводной Офицерской роты.

Его худое конусообразное лицо с большим прямым носом украшено длинными остроконечными усами и тонкой бородкой, отпущенной из-под нижней губы и спадающей ниже подбородка. Это придаёт ему разительное сходство с Дон-Кихотом. В спокойных зелёно-серых глазах точно спят скука и апатия. Слова его скупы, и роняет он их редко, без раздражения, без повышения или понижения голоса, а как будто нехотя и то по крайней необходимости. По своим политическим взглядам — монархист, но в полемику с инакомыслящими не вступает и вызвать его на спор на эту тему невозможно: своё не навязывает, чужого не желает. То обстоятельство, что он является заместителем командира отделения штабс-капитана Крыжановского и, таким образом, старшим офицером отделения, не вызывает в нём никакого желания властвовать или стремления отличиться. Когда ему случается отдавать приказания или передавать распоряжения по отделению, то делает он это очень своеобразно: не властно и требовательно, как другие, а со спокойной скукой, как надоедливую обязанность.

В нём поражают две необъяснимые, на первый взгляд, вещи: какое-то особенное уважение к нему со стороны взводного командира капитана Згривца и то удивительное обстоятельство, что он, офицер мирного времени, неоднократно раненный, не только не имеет ни одной боевой награды, но и остаётся в том же чине, в котором застала его война 1914 года.

Уже гораздо позднее, при выходе из Каменноугольного района на большую московскую дорогу, когда исчезли между нами чины, сменившиеся только нашими именами, Витя рассказал мне столь интриговавшую меня историю его непроизводства.

Где-то в забытом Богом захолустье Полесья стоял его полк. Скука, безвыходность положения, усугубляемая двадцатилетним возрастом, властно требующим выхода энергии, стремление найти хотя бы отзывчивость толкнули его на связь с замужней женщиной. И в один, очевидно, не прекрасный момент муж застал его в спальне своей жены. Два выхода оставалось Вите: выпрыгнуть в окно в чём мать родила или открытое объяснение. Он выбрал второе. Это объяснение закончилось смертью мужа и преданием суду Вити. Вскоре после того начавшаяся война 1914 года бросила его на фронт в качестве находящегося под судом. В этом положении он оставался до начала революции. Отказавшись принести присягу Временному правительству, он усугубил своё и без того незавидное положение.

Особое же к себе отношение капитана Згривца он объяснял тем, что он кадровый офицер, а капитан Згривец

произведён из сверхсрочных фельдфебелей, навсегда сохранивших уважение к старому офицерству.

Впервые я видел поручика Якушева в бою под станцией Гуково в рукопашной схватке с превышавшим нас в десять раз противником. В происходившей бойне не было ни времени, ни возможности остановить своё внимание на чём бы то ни было, да и собственная экзальтация исключала всякую возможность наблюдения. Мельком я то видел его рядом со мной, то вдруг он оказывался в другой горсточке офицеров нашей роты.

Бой кончился. Трупы красных густо усеяли платформу станции и железнодорожные пути. Собравшиеся в небольшие группы офицеры обсуждали перипетии боя. Поручика Якушева среди них не было. Он стоял поодаль с прапорщиком Быховцом и, заметив меня, подозвал к себе.

— Вот и Вы, прапорщик, неужели не знаете, что бить прикладом винтовки не полагается? Посмотрите на Ваше оружие и достаньте себе другую винтовку.

Действительно, и у меня, и у Быховца винтовки оканчивались отколотыми у шейки прикладами, на что я только теперь обратил внимание. Якушев не сказал нам более ни слова и направился, не торопясь, к стоявшему неподалёку взводному.

Корнет Пржевальский

Переход от станции Ольгинская до станицы Хомутовская. Оттепель. Мокрый тяжёлый чернозём. Наша рота идёт в голове. Дорога ещё не натоптана, и ноги уходят в густую чёрную кашу, откуда их с трудом вытягиваешь назад с налипшей на них тяжёлой грязью. Идти при таких обстоятельствах невероятно трудно. Но хуже всего приходится поручику Якушеву и корнету Пржевальскому. Их кавалерийские сапоги отнюдь не приспособлены к подобной прогулке. Прикреплённые к ним шпоры, погружаясь в липнущую грязь, вытаскивают на себе добавочную порцию в хороших три—четыре фунта и бросают её на их долгополые шинели. Прилипая к подолу, грязь образует нечто похожее на колокол. На каждом привале они очищают её снятыми с винтовок штыками. Но уже через десять минут после начала движения всё начинается снова. Со

станции Хомутовская оба выходят в обрезанных выше колен шинелях, расставшись навеки со своими шпорами. Они напоминают двух фантастических кузнечиков на длинных тонких ножках с едва прикрытыми крылышками—фалдочками задами. При каждом шаге фалдочки поднимаются, благодаря высокому разрезу кавалерийской шинели, и создаётся впечатление, что два коротких крылышка тщетно стараются поднять непосильную для них тяжесть.

15 марта. Мелкий холодный дождь насквозь промочил шинели. Температура падает, дождь постепенно обращается в маленькие ледяные иголочки, больно бьющие по лицу, и покрывает одежду ледяной корочкой. Холодно!

Рота, сперва шедшая по дороге, внезапно сворачивает влево и идёт в серую пустоту степи. Через час-полтора неширокая, в 6-7 шагов канава, наполненная бурлящей водой, преграждает дальнейшее движение. Обе стороны её обсажены столетними полусгнившими ракитами. Наш берег пологий, противоположный представляет собою невысокий вал, что делает его выше нашего и исключает всякую возможность прыжка. Появившийся внезапно генерал Марков приказывает найти старую корягу упавшей ракиты или выломать одну из стоящих. Старая коряга скоро найдена и общими усилиями брошена в воду посреди канавы. Теперь предстоит переправа в два прыжка: с берега на корягу и с неё на другой берег.

Бой 4 марта под Кореновской вырвал из рядов взвода подполковника Яковенко и прапорщика Нестеренко. Теперь во главе взвода стоял я, а за мной корнет Пржевальский, так что честь открытия переправы предоставлялась мне, что я и проделал чрезвычайно эффектно, хоть и не без ущерба. Под тяжестью моего тела возведённый нами «шедевр» строительного искусства перевернулся, и я оказался в грязной воде, доходившей почти до пояса. Корнет Пржевальский не прыгнул, а просто вошёл в воду и стал против меня по другую сторону предательской коряги. Со своих мест мы подавали руки переправлявшимся, а коленями удерживали корягу в устойчивом положении. В течение всего перехода, закончившегося взятием станицы Ново-Дмитриевской, Пржевальский был весел, много смеялся, как будто не чувствуя всей тяжести этого историческо-

го дня. Никто не узнал бы в нём вышедшего из Ростова Томняги¹².

Не выдержали 1-й Кубанский поход щегольские кавалерийские сапоги Пржевальскаго. Ежедневно мокрая и наспех высушиваемая кожа их сгнила, и в образовавшуюся дыру стремились выскочить пальцы его ног. Тряпки, предназначавшиеся для удержания подмёток и закрытия дыр, плохо исполняли свою обязанность, и ему приходилось часто возобновлять эти перевязки. В таких сапогах я видел его бегущим в атаку на железнодорожную насыпь ст. Георгие-Афипской.

Екатеринодар. Взяты артиллерийские казармы. С окружающего их вала бросилась 1-ая рота на ближайшие дома города, до которых оставалось 150–200 шагов, но не пробежала и трети расстояния, смытая пулемётным огнём. Упал и бежавший впереди Пржевальский. Упал и не поднялся. Остался лежать там, где застигла его пуля. Вскоре разрывом снаряда его труп был отброшен в сторону и лежал, полузасыпанный землёй, непонятно маленьким комочком...

Меврский оазис

Дорогие соратники! Разрешите мне быть очень гордым, тем более, что гордость моя покоится на прочном фундаменте «Очерков русской смуты» генерала Деникина. Из чувства справедливости я уступаю половину моей гордости подполковнику Г.Н. Залёткину, в ту пору поручику, ибо без его участия история эта никогда бы не вышла из казачьей хаты станицы Ольгинской, где 12-го февраля 1918 года располагалось 1-ое отделение 3-го взвода 1-ой Офицерской роты.

О нелепых слухах относительно предполагавшегося движения Добровольческой армии генерал Деникин пишет: «Говорили даже, что мы идём в Меврский оазис!» Скромный автор этих строк является одновременно и автором курьёзного слуха.

В тот день отделение моего взвода, собранное в одну хату, изнывало от безделья. Наш взводный командир капитан Згривец помещался с нами, и на него-то обратилось моё опасное внимание в поисках каких-нибудь развлечений.

Поручики Успенский, Паль, Недошивин, доброволец Платов и другие, сидя на скамьях вокруг стола, спорили о направлении движения армии. Я же был занят изысканием такого места, которое возбудило бы внимание и любопытство капитана Згривца. Эврика! Меврский оазис!

Подготовка к выполнению задуманного плана была проведена с молниеносной быстротой: беглый взгляд в сторону поручика Успенского, лёгкое прикосновение к сапогу поручика Паля, скошенные глаза по правилу «в угол— на нос— на предмет» для Недошивина и хлопанье среднего и указательного пальцев по большому для остальных— объяснили каждому задачу.

- Да что там спорить, небрежно произнёс поручик Успенский, идём за Синей птицей, как сказал генерал Марков.
- Да, но нет ли тут намёка? бросился я прямо к цели. Синие птицы водятся только в Меврском оазисе! Я уже слышал, что мы идём туда!
- Верно! вскрикнул Недошивин. Так вот что это значит!

Згривец насторожился.

- Кажется, что так, да только воды там нет! возразил кто-то.
- Как воды нет? А секретные водоёмы, которые ещё Чингисхан понастроил на сотни тысяч коней и людей!
 - Верно! Значит, идём в Меврский оазис!
- В Меврский оазис! подтвердили все хором. В Меврский оазис!

Згривец весь обратился в напряженное внимание, но не вмешивался, а только прислушивался, может быть, боясь попасться на удочку. Всё предприятие грозило провалиться.

В этот момент в хату вошёл поручик Залёткин, бывший на связи в штабе полка и теперь сменившийся.

— Жора, правда ли что мы идём в Меврский оазис? Ты ничего не слыхал?

Быстро охватив обстановку, Залёткин подтвердил:

— Завтра выступаем в Меврский оазис!

Появление Залёткина прямо из штаба полка придало необыкновенный вес его словам, и Згривец не выдержал:

— А где же этот самый Мерзкий оазис?

— В Туркестане!

Нижняя губа капитана Згривца сама собой вытягивается в дудочку, рот раскрывается, глаза округляются. Единственная фраза, произнесённая им, состоит из одного слова, выражающего всю бурю чувств и переживаний, овладевших им при столь потрясающем известии: «Во-о-о-т!»

Дикий, неудержимый смех охватывает нас всех. Стонет, ухватившись за живот, поручик Недошивин. Катается по постели в «судорогах» поручик Успенский. Поручик Паль, сидевший на лавке, прислонился спиной к стене и, задрав кверху ноги, заливается истерическим хохотом. Присев на корточки и держась руками за пол, издаёт какие-то нечленораздельные, похожие на икание звуки доброволец Платов.

Згривец выпрямляется:

— Ну, сейчас чтоб чистить винтовки! Чтоб вас далеко не носило!

Надел шинель, взял фуражку и вышел из хаты. Вернувшись через час с каким-то надменно-торжествующим видом, проверил винтовки и сообщил, что отделение назначено на ночь в полевую заставу.

Холодно ночью полуодетым людям в открытой, занесённой снегом степи. Вот те и Меврский оазис! Вдруг к заставе подъезжают три всадника. Узнаём генерала Маркова, доктора Родичева и капитана Образцова. Узнав, что это отделение 3-го взвода, генерал Марков весело справляется:

— А, это, стало быть, вы! Ну, что вы там начудили?

Рассказываем историю Меврского оазиса. Генерал Марков хохочет. Хохочем и мы. Неожиданно на заставу приходит капитан Згривец, слышит смех, узнаёт генерала Маркова. Марков видит Згривца:

- Весёлые у вас люди, капитан.
- А чего им, Ваше-ство, только и делают, что ржут. Вот теперь пусть помёрзнут, чтобы их в Туркештане не попалило!

Теперь смеются и генерал Марков, и доктор Родичев, и Митя Образцов. А мы — мы ржём. Згривец насупился. Желая поддержать и утешить его, генерал Марков, указывая на кисть его раненой руки, спрашивает:

- Ну как, капитан, работает?
- Работает, Ваше-ство, оживляется Згривец.

Но он врёт. Кисть его руки остаётся неподвижной, и три месяца спустя будет лежать она, такая же неподвижная, на его тоже уже неподвижной груди, закрывая собой маленькое отверстие от пули, пронзившей его сердце.

Вот и вся история Меврского оазиса. Всё остальное есть только моё предположение о путях, по которым она дошла до штаба армии и попала в «Очерки русской смуты». Вероятно, генерал Марков рассказал её в штабе, а генерал Деникин сохранил в памяти как самый нелепый курьёз, слышанный им в его жизни.

4 марта 1918 года

Я не знаю, кто рисует картины на экране нашей памяти. Он, неведомый, не запечатлевает автоматически всего, что происходит. Он берёт и оставляет только то, что ему нравится, бессовестно раздувая или уменьшая события, оттесняя на второй план то, что находилось впереди, и выдвигая то, что находилось сзади. Одним словом, его творчество — художника, а не историка.

По мере того, как развивающиеся события происходят на поверхности нашей жизни, смена картин возникает в её глубине. Между первыми и вторыми имеется полная связь, но они неодинаковы и не сливаются вместе. Одна или другая картина поражает наш взгляд, а всё остальное остаётся в тени. Кто может сказать, с какой целью работает этот неутомимый художник и для какой галереи предназначаются эти картины?

Я собрал их и сам оказался в их власти. Одну из них, особенно ярко запечатлевшуюся в моей памяти, я назвал датой её возникновения: «4 марта 1918 года».

Бой под станцией Кореновской. В помощь 1-му Офицерскому полку придан один батальон Корниловского ударного полка. Общее командование в руках генерала Маркова. Мы наступаем вдоль железнодорожного пути, идущего по невысокой насыпи, постепенно снижающейся и уходящей в глубокую траншею, закрытую густыми посадками. Корниловцы идут справа от неё, а мы, марковцы, слева. Красный бронепоезд стоит в траншее, скрытый по-

садками, откуда свинцовым дождём шрапнели поливает наступающие цепи. Впереди, насколько видит глаз, чёрной чертой окопов пересечена степь.

Бой принимает затяжной характер. В помощь потесненным контратакой корниловцам послана 1-ая рота Офицерского полка. Совместными усилиями положение восстановлено, и наша рота возвращается на своё место, где началась новая контратака красных. Она тоже отбита. К нам скачет генерал Марков:

- Жарко?
- Жара, Ваше Превосходительство, почти нет патронов! Прикажите доставить!
- Вот нашли, чем утешить! В обозе их тоже нет. По сколько осталось?
 - Штук по двадцать.
- Ну, это ещё неплохо! Вот когда останутся одни штыки, тогда хуже будет. Вперёд!

Шагов на двести продвинулась рота и снова залегла, не в силах сломить сопротивление красных. Потери — более десяти процентов состава. Впереди топографического гребня длинной извилистой полосой протянулись густо занятые окопы противника. Оттуда непрерывно трещат пулемёты. Сколько их? Может, десяток, а, может, и больше. Для того чтоб атаковать, надо добиться перевеса огня, а патроны нужно беречь.

Генерал Марков говорит что-то командиру роты полковнику Плохинскому, который зовёт к себе командира 3-го взвода и отдаёт ему приказание. Тот в свою очередь вызывает полуотделенного — поручика Якушева. Выслушав приказание, поручик Якушев собирает своих людей и объясняет задание: двигаться незаметно вперёд, прижимаясь к железнодорожной насыпи, обойти красный бронепоезд и, передвигаясь по посадкам и не привлекая к себе внимания красных, достигнуть моста через реку Кореновку, чтобы не допустить их перехода через мост. Задача дана двенадцати человекам.

Выполнение этой, казалось бы, невозможной задачи прошло с поразительной простотой, благодаря тому, что окопы на сотню шагов отстояли от посадок, а находившееся шагах в пятидесяти охранение фланга не обратило на нас никакого внимания, очевидно, приняв за своих. На их

окрик мы ответили успокоительным жестом и прошли дальше в траншею, где оказались рядом со стоящим там бронепоездом. Проходя под деревом, на котором сидел их артиллерийский наблюдатель, поручик Успенский задал ему какой-то вопрос, но ответа не получил. Затем мы очень скоро и безо всяких препятствий очутились на неширокой площадке у самого входа на железнодорожный мост.

Если до этого момента я сохранил полное представление о развитии боя слева от насыпи, то всё дальнейшее осталось как отрывочные, плохо связанные между собой эпизоды: их заслонила новая, целиком потрясшая меня картина. Там, в пятистах шагах за нашими спинами, стоял красный бронепоезд, а здесь, перед нами, лежал тяжело раненый в бедро капитан Корниловского полка!

Если бы на Страшном Суде меня спросили, кто взял мост под станцией Кореновской, я бы ответил, не колеблясь: полуотделение поручика Якушева. Однако же капитан был тут. Я хорошо помню то удивление, с которым я подошёл к раненому. Он обратился ко мне с вопросом:

- Прапорщик, у Вас есть револьвер?
- Так точно, господин капитан.
- Потрудитесь передать его мне!

Слова эти были сказаны тоном приказания. Помню, что в этот момент за нашими спинами разгорелась сильная стрельба, с грохотом прокатил мимо нас красный бронепоезд, прошёл мост и продолжал удаляться по высокой, хорошо видной насыпи. Мы открыли огонь по бежавшим к мосту, бросившим свои окопы красным. Охватившая их паника была неописуема. На наших глазах они бросались в реку, пытаясь перебраться вплавь на другой берег. Вся поверхность реки была покрыта плывущими под нашим огнём «товарищами». Поручик Якушев приказал перескочить мост и, по возможности, отрезать им дорогу к бегству. Направляясь к мосту, я снова подошёл к раненому корниловцу.

- Господин капитан, красные бегут! Сейчас здесь будут наши и Вас вынесут.
- Неужели Вы думаете, что я соглашусь отягощать своим полутрупом и без того тяжёлое положение армии?

Даю слово, что в его ответе прозвучало искреннее удивление.

— Потрудитесь передать мне Ваш револьвер, — повторил он. Я отстегнул и передал ему свой пистолет.

Кто оттеснил нас с того берега и почему мы снова оказались на этом, совершенно ушло из моей памяти. Всё заслонила картина: лежащий у моста и уже мёртвый капитан-корниловец. Наполовину снесён его череп, лицо закрыто чёрной маской запёкшейся крови, из откинувшейся правой руки вывалился мой тяжёлый маузер. Я взял его и снова прицепил себе на пояс.

Почти пятьдесят лет отделяют нас от поразившей меня тогда картины. Она не утратила во мне ни всей яркости красок, ни разнообразия своих тонов. В течение почти пятидесяти лет я, не переставая, задавал себе одни и те же вопросы и не находил на них ответа. Кто был этот капитан? Как мог он оказаться впереди нас? Как мог он быть ранен там, где ни один из «товарищей» не подозревал нашего присутствия? Куда девались те, кто был с ним?

Ничего, буквально ничего я не могу объяснить себе и поныне. Не могу ответить и на сотни раз возникавший у меня вопрос: почему и зачем нарисовал именно эту картину работающий в моей памяти неведомый мне художник?

Пурга

Расплясалась злая баба-пурга, разметала по ветру седые космы, на длинные белые ленты лохмотья свои порвала. Несётся, шаманит, кружит, сотней голосов по степи стонет. Гудит в телеграфных проводах, воет под крышами станционного посёлка, по освещённым окнам неподвижных вагонов белыми полосами лохмотьев своих хлещет: ненавистен ей всякий признак жизни. Ой, горе в степи не только человеку, а и дикому зверю!

С визгом ворвалась пурга, космы седые в приоткрывшуюся дверь запустила.

 Командира второй — к командиру батальона! — расслышала.

Высокий офицер быстро прошёл по вагону. Слышно, как стукнула за ним дверь. Взвыла пурга, с разбегу в спину его толкает, белые холсты под ноги стелет, идти поскорее торопит:

- Ступай, ступай, соколик! Разуважь меня, старую! До потехи-то я большая охотница!
 - Вторая рота, выходить, строиться!

Звенят котелки, гремят винтовки, скрежещут пряжки ремней. Будто затихла пурга. К заиндевевшим окнам прильнула. Смотрит: не обманули бы старую!

Нет, не обманули. Вот и дверь вагона открыли. Один за другим спрыгнули на землю сорок человек и выстроились вдоль вагона. Короткие слова команды — и рота идёт на вокзал.

Как заголосит пурга! Вся визгом да хохотом изошла: то-то будет веселье!

На белом перроне чернеют стройные ряды. Бесится вокруг пурга, больно сечёт жёсткими обледенелыми плетьми волос своих по стянутым морозом лицам, страшное в ухо нашёптывает:

- Не верь, человек! Берегись! Послушаешь вместе с телом и душу погубишь!
 - Ну, с Богом!

Колыхнулся строй, звякнул оружием и будто утонул в белой степи. Даже следа не оставил. Воет пурга!

Бежит, змеится телеграфная лента. Щёлкает аппарат под привычной рукой телеграфиста. Низко опущена голова его, но недобрый огонёк горит в глазах, следящих исподтишка за глядящим в заиндевевшее окно юнкером.

Эй, Сеня¹³! О чём задумался? Возьми уши в зубы! Что там голосит тебе пурга? Куда ты смотришь? Ничего не видать в запорошённое снегом окно. Далеко позади остались преданные Керенским юнкера, защитники Зимнего Дворца, твои товарищи. Не по их уже догнивающим останкам воет в селенье собака. Слушай же, Сеня, слушай! Да не пургу, не вой собачий! Слушай то страшное, что творится у тебя за спиной!

- Стой, телеграфист! Стой! Берегись! Не тайна стук твоего аппарата.
 - Стой, себя пожалей!

С чего вдруг примолкла пурга? На минуту только примолкла. Слушает.

- Гуково, Гуково, трещит аппарат. Белые пошли на Гуково... Человек сорок!
 - Прочь с аппарата!

Друг против друга стоят они оба: обезумевшие от страха юнкер и телеграфист.

- Погиб! стучит в мозгу телеграфиста.
- Поги-и-и-б! вторит пурга.
- Капитан Добронравов... вторая рота... не смеет закончить леденящая мысль в голове юнкера.
 - П-о-г-и-и-и-б-л-и-и-и! кончает пурга.

Ой, как пляшет пурга! Просто взбесилась проклятая баба! Голоса команды не слышно за визгливым хохотом её. Да что там голоса! Даже залп ружейный покрыла. Глаза так застегала, что ничего не видать!

Семеро прошло их на ту сторону путей, а назад вернулось только шестеро: с седьмым осталась пурга. Тёмную кровь белым снежком застелила и давай труп в тряпьё своё пеленать. Да в такой пляс пошла — с визгом, с хохотом! И сквозь них будто слышится: «Ну, ублажил! Ну, разуважил старую! Давно потехи такой не видывала! Люблю молодца за обычай! Даже душеньку свою не пожалел! Мой ты, мой, телеграфистушка!»

Вот уж труп и совсем запеленала. Только носки сапог чёрными уголками торчат. А сама прочь понеслась. Туда, на Гуково. Вот там будет веселье! Вспугнула дорогой старая ведьма бесовские табуны свои, и понеслись они по степи в безумном беге, струя длинные хвосты, разметав волнистые гривы — в белой пене белые кони. То быстрее ветра несутся они вперёд, то станут, как вкопанные, устрашённые диким воем пурги, то бросаются назад, храпят, сшибаются, громоздятся друг на друга, роняя хлопья белой пены, и в стонущем ледяном дыхании извергают из широко раздутых ноздрей своих целые потоки снежных водопадов! Страшна непроглядная белая степь, когда справляет свой шабаш в необозримых пространствах её бесовская сила. Не найти, не вернуть поглощённую степью роту!

Наконец-то угомонилась пурга. Далеко в степь коней своих угнала и сама под кучей тряпья своего распластала на земле усталое тело своё. Натешилась вволю, уснула старая. Заскользила по тёмному небу призрачно-серебряная гондола месяца. Синими огоньками тысяч ночников заиграли степные снега. Не увидишь того, что творилось там, в заколдованном кругу бесовской пляски.

Лишь когда побежит от востока светлое утро, свивая перед собой вуаль ночи, постепенно открывая всю доступную взору степь, только тогда увидишь, что натворила пурга. Увидишь на догоревших кострах сожжённых живьём раненых. Заметишь торчащие из земли руки с обрубленными пальцами. Среди разбросанных трупов в их искажённых нечеловеческой пыткой лицах с трудом узнаёшь дорогие черты замученных друзей твоих.

И если смутится дух твой, если леденящий ужас вопьётся в сердце твоё, то беги, скройся, забейся в самую узенькую щёлку жизни! Но если вспыхнет в тебе горячее пламя священного гнева за поруганную русскую душу, за втоптанную в грязь честь русского война, то храни его глубоко в душе твоей, пронеси через степи казачьи, не угаси в суровых отрогах Кавказских гор, унеси с собой и в изгнанье!

Ни за токарным станком завода, ни за рулём автомобиля, ни в глубине чёрной шахты — нигде и никогда не расставайся с ним! Им одним и только им смиришь ты бесовскую пляску пурги на необъятных просторах земли русской!

«Аблимантес!»

Отгремели последние выстрелы. В вечерних сумерках стянулась в станицу 1-ая рота, с полчаса потопталась на площади в ожидании развода по квартирам и, наконец, вступила в обладание отведёнными ей хатами.

Особенно удачно закончившийся бой, приподнятое и ещё не улёгшееся настроение, сравнительно небольшие потери и предвкушение заслуженного отдыха являются причиной общей весёлости. По компетентному заверению капитана Згривца, очередь несения наряда по охране армии ложится на другие роты. Однако неожиданный вызов взводного к ротному командиру и долго продолжающееся отсутствие его порождают в сердцах оптимистов тревожное сомнение, а в сердцах пессимистов чёрную меланхолию. Сияющее лицо возвратившегося Згривца мигом успокаивает всех, а следующее за ним известие о днёвке наполняет сердца бурной радостью. Главное же основание торжественного состояния капитана Згривца зиждется на

полученной от полковника Плохинского похвале за действия в бою 3-го взвода, о чём он тут же и сообщает.

Умеющий карать, капитан Згривец умеет и жаловать! Перечень налагаемых им кар не блещет разнообразием, но постоянно достигает цели. Это коллективное наказание: «Слышь, почистить винтовки!» И только один раз назначение всего отделения в полевую заставу вне очереди в особо тяжёлом случае с Меврским оазисом. Индивидуальная кара одна и та же: караул вне очереди.

А награда? Она всего одна, но зато какая! Что значит по сравнению с ней, награждение орденом святого Георгия? Что значит производство в генералы? Что значит Высочайший рескрипт на Ваше имя? Ничего не значат! И эту награду в тот вечер получил я, хотя решительно не помню, за что именно. Войдя в хату, капитан Згривец громко и твёрдо объявил: «Я теперь с Лингвардтом и спать могу!»

Да не подумает кто-нибудь из читателей что-либо игривое и легкомысленное. Но я сознаю необходимость объяснить истинный смысл высшей награды и, таким образом, избавить всех от неправильного и греховного понимания. Капитан Згривец обычно располагался с первым отделением своего взвода в одной хате и в страшной тесноте. Широкую кровать, стоявшую неизбежно в комнате, он считал своей неотъемлемой собственностью, и горе тому, кто вздумал бы на неё покуситься!

Помню, что в одной из станиц, воспользовавшись отсутствием Згривца, мы уговорили добровольца Платова лечь на кровать. Вернувшийся Згривец долго с гневливым недоумением смотрел на это неслыханное нарушение установленного им этикета и назначил Платова внешним часовым с объяснением причины наказания: «Ишь ты, какой взводный нашёлся!» Сколько мы потом ни уговаривали Платова повторить опыт, он не соглашался, правильно считая, что ночь, проведённая в хате, хотя бы и в тесноте на полу, но всё же лёжа, приятнее, чем проведённая стоя на холоде. На своей двуспальной кровати Згривец разрешал спать наиболее отличившемуся в этот день офицеру и это разрешение считал высшей наградой для своего подчинённого. И вот теперь эту награду получил я.

Говорю совершенно серьёзно, что для меня эта награда была особенно желанна и радостна не потому, что могла

бы наполнить моё сердце гордостью (чем, между прочим, она его не наполнила и была бы в данном случае бессильна: лишённый необходимых будущей звезде человечества качеств, я был лишён и чувства честолюбия и, таким образом, гордость за отсутствием матери по раз принятому на земле правилу родиться не могла). А потому что, выраженная столь оригинально, награда эта разрешала одно из мучительнейших сомнений, терзавших меня со времени зачисления в Алексеевскую организацию. Дело в том, что, наблюдая своих соратников, я приходил к заключению об их полном превосходстве надо мною и сознавал, что в их среде я был не более чем жалкий подголосок, и никогда не надеялся дотянуться до них, оставаясь плохой копией с хорошего оригинала. Теперь эта награда Згривца досталась мне, и полученная от этого primus inter pares¹⁴ означала принятие меня в ту среду, к которой я тянулся. Да, это была самая высокая из полученных мною когда-либо наград!

Но нет розы без шипов! А шипами этой благоуханной розы были точные сведения, исходившие от награждённых ранее офицеров, о предстоящей мне кошмарной ночи. Широкая кровать, по всей вероятности, представлялась капитану Згривцу почётной эстрадой, на которую возводился прославляемый, но самому прославляемому она казалась средневековым эшафотом, где его ждали нечеловеческие пытки.

Згривец ложился на кровать со стороны стены, предоставляя авансцену эстрады прославляемому. Спал он на спине, держа свою раненую руку слегка на отлёте, занимая, таким образом, две трети «жилплощади», остаток которой представлялся герою дня.

Засыпал он мгновенно, о чём возвещал таким могучим храпом, что приходилось только удивляться прочности казачьей хаты. Спал он крепко, но очень беспокойно, то отбрасывая руку, то неожиданно переворачиваясь на бок и тотчас же снова возвращаясь на спину. Если эти перекаты производились в сторону стены, не признававшей его начальнической власти и не желавшей подвинуться, то, встретив её упорное сопротивление, они немедленно обращались в другую, более податливую сторону и лишали соседа последних остатков жилплощади. Бывали случаи, ко-

гда в результате этих повторных перекатов в сторону наименьшего сопротивления лежащие на полу пользовались богатой возможностью высказать всё то, что они думают о слетевшем на них помимо собственного желания «имениннике». А он, далеко не польщённый этим общим вниманием, высматривал себе какой-нибудь безопасный закоулок и устремлялся к нему, создавая себе в продолжение всего долгого пути всё новых и новых «доброжелателей». Когда же после многих акробатических упражнений ему, наконец, удавалось достигнуть облюбованного пункта, он, присев на корточки и прислонившись спиной к стене, предавался скорбным мыслям о том, что если уж совсем нельзя обойтись без геройства, то в будущем надо быть много осторожнее и, во всяком случае, не привлекать к себе одобрительное внимание капитана Згривца.

Предупреждённый обо всех грозящих мне опасностях, я заранее приготовил себе пристанище в образе длинной и узкой скамейки, на которую и переселился, как только захрапел Згривец, не дожидаясь насильственного выселения. Эту ночь я проспал прекрасно!

Следующий день начался сразу двумя утрами: одно — смеющееся утро нашей молодости, а другое — обыкновенное мартовское утро, о котором и говорить не стоит.

Ревизуя скудное имущество своего вещевого мешка, поручик Недошивин определил, что сделанные им несколько дней назад запасы макухи истощились и требуют пополнения. С этой целью он обратился к хозяйке, прося дать ему кизяку. Такие слова как макуха, кизяк, нор-дек и так далее, услышанные впервые в походе, спутывались нами сплошь и рядом, что и случилось в данном случае с Недошивиным. Макуха — семена подсолнуха, отжатого вместе с шелухой, а кизяк — большой кирпич, слепленный из рубленной соломы, коровьего и лошадиного помёта.

На удивлённый вопрос хозяйки: «Да на што он тебе?» — Недошивин ответил ещё более изумившим её объяснением: «А cocaть!»

Употребление в пищу кизяка было, по всей вероятности, для нашей хозяйки в новинку, так как лицо её выразило одновременно ужас, любопытство и неодобрение. А может быть, наслушавшись распространяемых тогда «товарищами» рассказов о том, что генерал Корнилов ест детей,

она решила, что армию свою он кормит чем–либо попроще. Во всяком случае, подойдя к печи, она взяла лежавший кизяк и подала его Недошивину.

- Зачем он мне? в свою очередь удивился Недошивин.
- Да ты ж казав, сусать, невозмутимо ответила казачка.

Обуявший нас всех смех вскоре перешёл в настоящую истерику, так как капитан Згривец, обратившись к Недошивину, изрёк саркастическую фразу: «Ишь, ты, сластолюбец!» А затем, отвечая на вызванную им реакцию, присовокупил: «Вишь, как ржут! Хоть бы глотки пожалели!» Хохотали тогда все и долго, но больше всех Недошивин.

Следующим острым переживанием, запечатлевшимся в моей памяти, была покупка нами петуха на соседнем дворе. Продавшая его нам казачка богатырского сложения, в широкой яркой юбке и такой же яркой кофте с засученными рукавами приняла от нас деньги и, указав на гулявшего во дворе петуха, предложила нам взять его самим. Развёрнутой цепью, состоявшей из трёх человек, двинулись мы на петуха.

Рассказывать обо всех ухищрениях, употреблённых нами для вступления во владение нашим движимым и движущимся имуществом, было бы равносильно признанию понесённого нами поражения, а потому, не желая огорчать читателя, я остановлюсь только на описании пленения петуха, хоть и не нами, но для нас, что, в конце концов, и требовалось!

Во всё время наших бесплодных попыток богатырша не покидала крыльца, может, из опасения, что заплатили за одного, а унесут троих, и наблюдала, не скрывая своего презрения, за нашими беспомощными мотаниями по двору. Наконец, не выдержала. «Эх, не моя в вас ухватка!» — с горьким упрёком вскрикнула она и смело бросилась с крыльца на только что отразившего опасность пленения петуха.

Явно имея не нашу сноровку, она ухватила с двух сторон свою широкую юбку и, расширив её, таким образом, раза в три, носилась по двору с непредсказуемой для её комплекции энергией. Тактический приём, с успехом применявшийся петухом против нас и позволявший ему

неожиданно проскакивать между нашими растопыренными руками и ногами, наткнулся теперь на удивительную подвижность и хитрость этой доморощенной Валькирии, в своём непрестанном наступлении воздвигавшей перед ним высокую и непроходимую юбочную стену. Когда же он, собираясь обогнуть это непреодолимое препятствие, бросался в сторону, то она одним прыжком, а при настойчивости петуха в проводимом им манёвре, и несколькими — создавала у него впечатление бесконечности стены, чем приводила его в состояние полной растерянности и вызывала поспешное отступление к окружающему двор плетню.

Преследуемый по пятам неумолимой Валькирией и очевидно доведённый ею до полного отчаяния, петух решил перелететь через неподдающуюся обходу с флангов юбочную стену. Это необдуманное решение закончилось его гибелью. Схваченный за ноги петух был передан нам со строгим наставлением: «Смотрите, картузники, чтоб не выпустить!» По всей вероятности, сообразительная Валькирия сомневалась в наших даже самых скромных способностях. Исполняя её наставления, мы осторожно несли петуха к себе в хату. Один держал его за голову, другой за ноги, третий за хвост. Таким торжественным кортежем предстали мы пред испытующими очами капитана Згривца.

Отведённая нам хата не имела хозяина, а только хозяйку, что объяснялось не её вдовьим положением, а тем, что хозяин, вероятно, какой-нибудь иногородний, имевший веские основания не встречаться с Добровольческой армией, исчез. С одной стороны, это было удобно, но, с другой, создавало много лишних хлопот в поисках той или иной необходимой вещи. Так, например, не желая беспокоить хозяйку, мы отправились на розыски какого-нибудь режущего предмета и ничего не нашли: ни ножа, ни топора, ни хотя бы косы. Правда, во дворе был обнаружен большой колун, но он не годился для расщепления петуха на порции, ибо грозил обратить его в лепёшку при первом же ударе. Когда же выяснилось, что нет и соли, то волей-неволей пришлось обратиться к хозяйке, в дальнейшее распоряжение которой и перешёл злосчастный петух. Но даже и в её опытных руках петух оказывал посмертное сопротивление и ни за что не хотел вариться.

Потерявший терпение Згривец отправился в полковой околоток¹⁵ с целью сделать «мансаж» своей раненой руки. Вернувшись через час, радостно объявил, указывая на едва движущиеся пальцы: «Вот, вишь! Слышь, работает!» И приписал этот успех тому обстоятельству, что доктор «должно, книжку прочёл». Общий взрыв хохота не испортил сохранившееся со вчерашнего дня радостное настроение Згривца, заявившего примирительным тоном: «Ну, чего вы опять? Ну, может, и не прочёл».

Однако новый неудержимый смех заставил его переменить тему и справиться о состоянии петуха. Получив ответ, что тот ещё варится, Згривец выразил предположение: «Он, должно, кирпишный!» — чем снова рассмешил всех. Со словами: «Да ну вас всех! И чего только ржут!» – вышел из хаты и отправился во двор. Там в это время поручик Ершов (Вуколыч) был занят приготовлением чрезвычайно редкого и долженствовавшего поразить всех блюда по рецепту, известному ему одному. Занятый сперва покупкой и ловлей петуха, а потом его приготовлением, я не присутствовал при всех необычайных предварительных ухищрениях для создания необходимых условий этому апофеозу кулинарного творчества.

Дабы не возбуждать аппетит читателей и не вызвать в них чувства зависти, я ограничусь описанием не самого блюда, а только впечатления, произведённого на терпеливых помощников и просто зрителей. Поиски всех необходимых элементов задуманного кушанья начались с самого утра и длились часов шесть! Задача оказалась не из лёгких, так как требовалось добыть не то ягнёнка, не то козленка, около двух вёдер молока, какой-то всем известной на Кубани травы, оказавшейся почему-то неизвестной жителям этой станицы, а потому заменённой чем-то другим. Картошка тоже восполнила отсутствие трюфелей, а каждый ненайденный овощ был заменён чем-то другим. Огромное количество дров и ещё большее количество времени были последними условиями этой титанической работы. В конце концов к двум часам пополудни всё было сложено в большой котёл, и Вуколыч приступил к «священнодействию».

Первое непредвиденное обстоятельство слегка изменило первоначальный рецепт: молоко подгорело. А так как снять

тяжёлый котёл с огня не представлялось возможным, то туда было приказано влить два ведра воды. Воспользовавшись отсутствием бегавших за водой поварят, молоко продолжало кипеть и бурной и неудержимой пеной бросилось вон из котла. Когда же процесс подгорания, перешедший в откровенное горение, был, наконец, прекращён, то выяснилось, что смесь остатков горелого молока с колодезной водой ничуть не уменьшила запаха гари.

По распоряжению главного повара всю находящуюся в котле жидкость отчерпали с целью заменить свежей водой. Постепенно открывавшееся дно разрушило и эту последнюю иллюзию. В чёрной запёкшейся массе, длинной растрепанной мочалкой окутывая ягнёнка (если это был не козлёнок), дымилась, хотя не разысканная, но какая-то другая трава, распространявшая вокруг себя ни с чем не сравнимый по отвратительности запах, который Згривец, вышедши в сумерках из хаты, определил одним многознаменательным словом: «Одеколон!» Спасти хотя бы козлёнка (если это был не ягнёнок) тоже не удалось, так как, лёжа всем своим боком на дне котла, он также подвергся разрушительной силе огня и по своей духовитости не уступал окутывающим его мочальным «водорослям».

Убитые произошедшей катастрофой поварята, голодные и разочарованные, один за другим дезертировали со двора, оставив маэстро Вуколыча глаз на глаз с его «аблиманте́сом» (по выражению того же Згривца). Недолго выдержал духовитость своего творчества и сам автор. Открывшаяся во двор для его пропуска в хату дверь одновременно впустила подозрительный чад, принятый устрашённой хозяйкой за начало пожара и исторгнувший из её взволнованной груди громкий крик: «Биже шь мий! Биже шь мий! Никак свинушник запалили!»

В мгновение ока сформированная вольно-пожарная дружина бросилась вслед за выскочившей во двор хозяйкой, где её подозрение было опровергнуто самим свинушником, спокойно стоявшим в глубине двора и гореть не собиравшемся. Зато по середине двора в зловещем зареве ярко тлевших углей чёрной угрюмой массой высился котёл, виновник ошибочного предположения хозяйки. Из него, густым бурым облаком окутывая окрестности, поднималось неописуемое зловоние.

«Чтоб сразу залить этот аблимантес!» — приказал возмущённый Згривец. И когда приказание его было исполнено — котёл наполнен до краёв водой, а угли залиты — последовало новое приказание: «Чтоб никто не спробовал! Оставляй на разживу «товарищам»! С ентова варева они беспременно забесятся!» Это мудрое приказание было исполнено с особым рвением.

Наступило новое утро. У нашей хаты собрались остальные отделения взвода. Тревожно поводя носами, застенчиво справились: «Чем это так воняет?» И получили исчерпывающий ответ: «Аблиманте́с!»

Екатеринодар. Хозяином собрания в Роте Ставки Главнокомандующего единогласно был выбран поручик Ершов. Но если одно из поданное блюдо не вызывало одобрения, то Вуколычу задавался ехидный вопрос: «А с этого аблимантеса не забесишься?» На что он неизменно отвечал, прищуривая свой косой глаз: «Ну, вам-то это трудновато. Вы ведь со дня рождения забесились!»

Я и свинья

Если, базируясь на заглавии этой своеобразной повести, кто-нибудь предположит, что героями её являются уже названные два действующих лица, то он ошибётся в том только, что назовет их героями, ибо в свинье нет ничего героического — свинья и есть просто свинья. Что же касается другого персонажа, то в его поведении тоже не было ничего достойного прославления, а одна только игра духа.

Вкратце остановлюсь на описании места, обстановки и всей декорации, на фоне которой произошло это событие. Так сказать, создам рамку для будущей картины и, кстати, поставлю на ней и дату — «да ведают потомки православных» 16—17 марта 1918 года. Станица Ново-Дмитриевская.

Стаял два дня тому назад покрывавший станицу снег и превратил в непролазную грязь кубанский чернозём на её немощёных улицах. Только вдоль домов вытоптаны узкие тропинки. Со стороны улицы выше колена поднимается отвесная стена грязи, местами сваливающаяся на тропинку. Идёшь как по траншее. А идти необходимо! Потому необходимо, что в сердце теплится надежда на доктора Ревя-

кина в смысле приведения к нормальным размерам моей непозволительно распухшей физиономии. Два дня тому назад при взятии станицы она слегка пострадала от красной пули. Рассказывали мне потом, что, падая, я сделал ни на чём не основанное заявление: «Я убит!» Сам я этого не помню. Ну, а если вправду сказал, то должен сознаться, что похвастался. Зубы-то мне, конечно, выбило, но сам я, остальной, в данном случае выздоровел.

Итак, иду я в наш околоток, а расположился он на первой перпендикулярной нам улице почти рядом со штабом роты. Что уж там со мной делали, не помню. Может быть, только то и сделали, что утешили и назад в роту отпустили. Вышел я и только собрался по узкой траншее домой возвращаться, как заметил, что дорога моя перерезана непреодолимым препятствием: лежит передо мною большая свинья и тушей своей мне путь преграждает. Хоть в грязь лезь! И лежит она ко мне задом с видом величайшего равнодушия. Попытался я её слегка ногой толкнуть, а она и не пошевелилась. Посильнее толкнул. Она только задними ногами шевельнула и продолжает лежать. Начал я её пинками бомбардировать. Поднялась она, несколько шагов сделала и опять легла. Подошёл я к ней и повторил свою бомбардировку. Поднялась она опять и лёгкой рысцой сперва вперёд побежала, а потом снова легла.

И вот тут-то и зародилась во мне некая коварная мысль. Сам я тогда ничего есть не мог и одним молоком изредка удовлетворялся, но что такое вкусный кусок свинины, ясно себе представлял. Так вот, захотелось мне свой взвод угостить. Грех небольшой, а идея хорошая! Да и до помещения взвода недалеко оставалось: до угла — пятьдесят шагов, да за ним столько же.

Поднял я свинью обычным уже способом, а за ней и сам в лёгкую рысь перейти собрался, чтобы не дать ей остановиться, как вдруг слышу над собой монотонный и грозный голос полковника Плохинского.

— Прапорщик Р., куда Вы свинью гоните?

Поднял я голову и вижу прямо над собой в открытом окне ротного командира, гневно наблюдающего картину нашего единоборства.

— Господин полковник, свинья сама бежит! — в произнесённой мною ответной фразе, как и в интонации,

сияет в чистоте звезды утренней вся безгрешность моих намерений.

Но, несомненно, замеченные полковником Плохинским мои недавние агрессивные действия заставляют его подозревать коварство моих замыслов. А свинья? Это вполне заслуживающее своё название животное опять спокойно улеглось на дороге и, кажется, не собирается двигаться дальше. В тяжёлом раздумые в трёх шагах от ротного командира стою я над ней, не смея обеспокоить Её Величество Свинью, дабы не навлечь на себя громы и молнии, и глубокой ненавистью к ней наполняется моё сердце.

Если посмотреть со стороны, то невольно встанет перед глазами то, что именуется в театре «немая сцена»: лежит свинья, стоит позади неё офицер и над ним наполовину высунувшаяся из окна фигура полковника Плохинского. Свинья не выражает ничего, офицер — полную растерянность, полковник — гневливое любопытство. Не стоять же до вечера над проклятой свиньёй! Нужна диверсия. Начал я её слева обходить, а правой ногой пинка ей дал для того, чтоб она с тропинки в грязь не бросилась, а прямо вперёд побежала. По моим расчётам, полковник Плохинский манёвра моего видеть не мог, а покорность моя сама в глаза бросалась: идёт, дескать, человек деликатный и свинью пытается сторонкой обойти. Что ж тут подозрительного? И опять слышу я позади знакомый монотонный голос: «Прапорщик Р., оставьте свинью в покое!»

Обернулся и вижу, что полковник Плохинский на полкорпуса из окошка высунулся и, конечно, диверсию мою разглядел. Я и отвечать ничего не стал: всё равно не поверит. Опять повторилась немая сцена, но только с той разницей, что полковничья фигура ещё дальше из окошка высунулась. Что же до нас, то мы со свиньёй в старой позе застыли: она на тропке лежит, а я над ней верным часовым стою, покой её охраняю. Дослужился!

Подумала ли свинья, что снова ей задом своим пострадать придётся, или ничего не подумала, но только поднялась она и вперёд пошла. Прошла несколько шагов и снова остановилась, очевидно, раздумывая, следует ли ей продолжать движение. А я на месте остался, дабы не укреплять переходящих в уверенность подозрений полковника Плохинского. Стою я и не оборачиваюсь, но уверен, будто

глазами вижу, что ещё больше высунулся он из окна и не упускает из вида ни сажени «поля боя». А свинья подумала, подумала и дальше пошла. И всего—то в каких—нибудь десяти шагах от угла находится. Там, как раз возле угла, грязь обвалилась и ей свободный выход из траншеи возможен. А кроме того, и другая опасность имеется: а ну как вместо того чтобы направо свернуть, она налево отправится, а там две траншеи сходятся и левая на ту сторону улицы ведёт. Пропала тогда для меня свинья, безвозвратно пропала!

Обернулся я и сразу убедился, что все мои предположения относительно полковника Плохинского полностью оправдываются. Высунулся он из окошка так, что скорее в горизонтальном положении оказался. Как только не вывалится! На животе, что ли, лежит? И обоих действующих лиц из глаз не выпускает. Пошёл я вперед, умышленно шаг замедляю и свинью в зад гипнотизирую: «Направо, свинья ты этакая, направо!» Я за ней тогда шагах в десяти находился и для большей убедительности ещё тише пошёл. Так что полковник Плохинский теперь мог собственными глазами убедиться в отсутствии всяких чёрных замыслов и в кротости моего поведения: я, мол, сам по себе, а свинья сама по себе, и вообще мы друг другом не интересуемся!

То ли гипноз на свинью подействовал, то ли самой ей так захотелось, но только она действительно направо за угол свернула безо всякого физического принуждения. А мозги мои, хоть и в распухшей голове, дело своё делают — соображают. Вот и сообразили они, что раз свинья направо свернула, то деваться ей уже некуда и, как только я за углом буду, то тут и мне в рысь перейти можно и ей живости придать. Так, не торопясь, дошёл я до угла и вижу, что на мозги жаловаться не приходится: свинья, действительно, в пяти шагах опять на дороге лежит. Ну, тут-то я тотчас же её на рысях атаковал и в бегство обратил. Так мы с нею галопом до двора хаты и прискакали!

Своим объяснять, в чём дело, не пришлось. Они об остальном и сами догадались — тоже не лыком шиты! Поручик Ершов–Вуколыч сразу на себя все остальные хлопоты принял, да и другие ему помогли. Двор хаты был отгорожен плетнём, за которым огород находился, а огород, в

свою очередь, другим плетнём от степи отгорожен был. Вот за этот–то второй плетень её и потащили для ликвидапии.

Я в хате остался, подозревая, что полковник Плохинский, того и гляди, во взвод заглянет, дабы убедиться в отсутствии во дворе своей протеже. Так оно и вышло. Визит полковника Плохинского не заставил себя ждать. Во дворе никаких признаков пребывания свиньи обнаружено не было, а в хате в мученическом выражении моего лица прочёл полковник Плохинский такое страдание, что, вероятно, устыдился своего чудовищного подозрения. Я как раз против зеркала сидел и, на самого себя глядючи, тоже удивлялся: как же это меня до сих пор живьём на небо не взяли, потому — одна святость и никакого свинства.

По окончании полковничьего визита капитан Згривец мне по секрету сообщил, что полковник Плохинский очень интересовался, вернулся я из околотка один или в обществе некой внушительной особы, и успокоился, получив заверение в полной моей невинности. Почесав за ухом, Згривец добавил: «Ох, смотри, узнает — расстреляет!» Ну, это я и сам знал. Два дня подряд весь взвод свининой угощался и Згривец тоже.

Однако история на этом не совсем закончилась. В тот же день пришла казачка с жалобой, что, дескать, кабанка угнали. Спасибо, что не попала в штаб роты! Заплатили ей по-царски, но, по-моему, не слишком дорого. Могло бы гораздо дороже обойтись. Во всяком случае, мне!

Верблюд

Моё первое знакомство с верблюдом относится к неприятнейшим воспоминаниям моего детства, когда наша встреча закончилась глубокой взаимной антипатией. Эта изуродованная со дня своего рождения скотина оплевала меня с высоты могучего роста с поразительной меткостью, вероятно, мстя за какие—то мои агрессивные действия, нанёсшие ущерб её верблюжьему достоинству. Расстались мы тогда с твёрдым намерением никогда больше не встречаться: я — уводимый за руку отцом и получивший предварительно подзатыльник, а он — отогнанный сторожем в глубину клетки.

Но «прошли года, мы вновь сошлись с тобою!» ¹⁷ Эта вторая встреча состоялась в селе Лежанка Ставропольской губернии, где, вынужденный сложившимися обстоятельствами, я оказался перед необходимостью восстановить наше знакомство. А если уж быть совершенно откровенным, то обстоятельства вовсе не сложились, а были заботливо сложены моим феноменальным легкомыслием.

Ночь накануне выступления я провёл в карауле и возвратился во взвод с законным желанием хорошенько выспаться. Забитая людьми хата плохо соответствовала моему намерению, а потому я отправился во двор, где и расположился в каком-то сарайчике в полном покое и одиночестве, утаив от всех моё местопребывание. Не помню, видел я во сне «ласки весны» или ничего не видел, но пробуждение своё запомнил!

Тишина. Зловещая тишина! Вхожу в хату — никого! За столом сидят две фигуры, и тоже зловещие.

— Где наши?

Ответ на мой вопрос мне кажется и вовсе зловещим:

— А ты что, отстал?

Их молниеносно брошенный друг на друга взгляд не предвещает ничего доброго. Чувствую, что кто-то очень большой и с очень холодными руками взял в них моё сердце и начинает его тихонько сжимать, а по спине взбираются мурашки.

Не знаю, насколько выражение равнодушия, приданное мною моему лицу, было естественным, но интонация голоса не изменилась.

— Нет, не отстал, а я тут маяком. Сейчас пойдёт наша кавалерия, так дорогу ей показать. А наши-то давно ушли?

Мой ответ, видимо, произвёл на них известное впечатление, так как оба мужика потупили головы, снова переглянулись и не замедлили с ответом: «Да, должно часа три-четыре».

Ободрённый первым успехом и желая придать ему ещё больше веса, я произвёл новую вылазку:

— Вот что: коли зайдёт полковник, так скажите ему, что я у церкви на горе дожидаться буду, а то казаков как бы не пропустить, они, небось, уже там! — и с этими словами я вышел из хаты.

Передо мной пустая улица. Ни души! Удары сердца отдаются в висках и мешают дыханию. Дабы не возбуждать подозрений, иду медленно, крепко охватив шейку винтовки и мысленно считая количество имеющихся у меня патронов. В этой тяжёлой борьбе головы с ногами, в которой ноги имеют тенденцию перейти вскачь, но где победа остаётся всё-таки за головой, я достигаю, наконец, соборной горы. Впереди ещё шагов на пятьсот продолжается улица, а дальше — пустая степь, насколько глаз видит. Следы недавно прошедшей крупной колонны войск не оставляют сомнения в направлении движения армии.

Передо мной встают три вопроса, терзающие мою душу. Как пройти остающиеся до околицы пятьсот шагов и не подвергнуться нападению из домов? Как не попасть в руки могущим появиться с минуты на минуту красным? Как догнать ушедшую армию? В патронташе имеется шестьдесят патронов — достаточно, чтобы выдержать хороший бой, но нет последней верной гарантии — револьвера!

Вообще, будущность рисовалась мне в исключительно чёрных красках, а воображение в ярких тонах заставляло подозревать существующие в действительности или предполагаемые опасности. Так, например, появление из–за плетня какой–то бабы самого мирного вида привело меня в состояние полной боевой готовности. Несмотря на то, что я ясно видел одну только бабу, я был убеждён, что эта–то баба и есть олицетворение военной хитрости и вышла она из хаты с единственной целью определения моей позиции. Впрочем, баба скоро исчезла, и никаких последствий её появления не оказалось. Может быть, и выходила–то она только «до ветру».

С четверть часа простоял я возле церкви в полной нерешительности, в то же время прекрасно понимая, что каждая потерянная мною минута ухудшает моё и без того скверное положение. Из этого состояния нерешительности я был внезапно выведен появлением небольшой группы людей, хотя и находившихся сравнительно далеко от меня, но, как мне казалось, имевших на мой счёт явно враждебные намерения, что и заставило меня произвести новую диверсию. Взобравшись на выбеленную кирпичную стену, окружавшую церковь и служившую цоколем для вделанной в неё решётки, я стал широкими взмахами рук

подавать сигналы несуществующим войскам. Для постороннего наблюдателя, как мне казалось, эти сигналы не оставляли сомнения в моей полной связи с подходящими и уже недалёкими частями.

Не могу сказать, произвела ли моя демонстративная жестикуляция впечатление на устрашаемых мною врагов, если таковые имелись в действительности, в чём я не уверен и по сей день. Но Фортуну она, если и не заинтересовала, то привела в недоумение и заставила её повернуться ко мне своим лучезарным ликом вместо предоставленного мне до сих пор права любоваться её тыловой частью.

Лучезарным ликом Фортуны я называю отвратительную морду огромного рыжего верблюда, стоявшего привязанным к решётке церковной ограды как раз за углом. Утопающий хватается за соломинку! Что же касается этой «соломинки», то, по-моему, она могла бы вытащить пятьдесят утопающих! Сделав её центром моих вожделений, я соскочил со стены и, уже не теряя ни минуты, бросился к ней.

Привязанный за шею верёвкой верблюд отнёсся к моему появлению с полным равнодушием, разве только махнул сзади обрывком какого-то растрёпанного шнура, долженствовавшего, по всей вероятности, изображать хвост.

Однако все мои попытки погрузиться на «корабль пустыни» успехом не увенчались за его полным неумением «пришвартоваться»: стоило мне влезть на стену и постараться подтянуть его себе, как он подходил и становился ко мне мордой, создавая ею непреодолимое препятствие для седлания. Соскочив на землю, я мог добиться от него стояния боком у стены, но как только я снова взбирался на стену, то опять оказывался перед его мордой в недоступной дали от его спины.

Когда, в полном отчаянии истощив все свои силы и не добившись успеха, я уже решил плюнуть на него и идти пешком — будь что будет! — тут-то я и оказался на нём безо всякого труда. В последний раз соскочив со стены и имея в руках винтовочный шомпол, до сих пор служивший мне палкой для приведения верблюда в необходимое положение, я случайно ударил им по какой-то части его несуразного тела. Верблюд тотчас же лёг. Теперь, оказавшись на нём, я приложил все усилия, чтобы поднять его и заста-

вить идти, тыча шомполом, куда попало. Действительно, истыканный верблюд встал и, не торопясь, двинулся вниз по улице в нужном мне направлении.

К сожалению, моё естественное желание ускорить его аллюр оставалось чисто платоническим по трём неустранимым причинам. Во-первых, «рычаг» управления верблюдом состоял всего из одной верёвки, охватывавшей петлёю его шею. Чрезвычайно короткий конец её я мог держать только в сильно вытянутой левой руке, не имея возможности продвинуться вперёд из-за высокого горба, украшенного пучком рыжего мочала. Во-вторых, моя правая рука была занята держанием винтовки в целях обороны на случай возможного нападения. И, в-третьих, сама моя неустойчивая посадка возбуждала во мне сомнение в моей способности усидеть в случае перехода на рысь. А кроме всего прочего, у меня не было полной уверенности в том, что верблюды вообще умеют бегать.

Так, медленно и с видом полного спокойствия, никем не тревожимые, покинули мы Лежанку, выехали в открытую степь и продолжали нашу неторопливую прогулку до тех пор, пока не скрылись из глаз очертания высокой церковной колокольни. С первым с момента моего пробуждения в Лежанке вырвавшимся из груди свободным вздохом просветлели одновременно и мои мозги, тотчас указавшие мне на всю нелепость держания одной рукой верёвки. Мой ставший мне симпатичным верблюд шёл, не требуя ни управления, ни принуждения, очевидно считая своей обязанностью шагать, а моей — спокойно сидеть на нём и не вмешиваться в его дела. Дислокация моего тела, если можно так выразиться, после освобождения левой руки значительно улучшилась, а отпущенная мною верёвка болталась под шеей верблюда, не достигая земли. Кроме того, перекинутая теперь за спину винтовка настолько укрепила мою посадку, что я уже был склонен считать себя прирождённым кавалеристом, если не на коне, то, по крайней мере, на верблюде.

Однако неторопливая походка моего верблюда, кроме того, что нагоняла сон, ещё и мало-помалу возвращала ушедшее было беспокойство, так как оставалась опасность преследования в случае, если «товарищи», конечно, уже предупреждённые местными жителями о нашем ухо-

де, вошли в Лежанку. Правда и то, что я отъехал довольно далеко, определяя расстояние по уже дважды замеченным мною местам малых привалов, легко узнаваемых каждым пехотинцем, но не предназначенных для описания.

Впереди только степь, ровная и безлюдная степь и никакой, хотя бы отдалённой, видимости армии. Случайно обернувшись, увидел я, что очень далеко позади замаячили маленькие фигурки нескольких всадников. Красные!? С этого момента я уже не смотрел вперёд, а, повернувшись насколько это было возможно, старался определить, скачут ли они ко мне или стоят на месте? Увы, уже через несколько минут не оставалось сомнения в том, что они приближаются! Их было всего трое, и они шли за мной широкой рысью, всё сокращая и сокращая разделяющую нас дистанцию. Уйти от них уже не было никакой возможности. А моя проклятая рыжая скотина равнодушно шла вперёд и, несмотря на все мои ухищрения, уговоры и просьбы, не желала повернуться лицом к противнику, предоставляя мне принять бой в положении полуоборота.

Единственная возможность успешной обороны сводилась для меня к необходимости с первого же выстрела убить или ранить одного из нападающих, чему в сильной степени мешала моя неудобная позиция, настойчиво требовавшая от меня подпустить их как можно ближе. Они находились от меня шагах в шестистах и, не уменьшая рыси, шли на сближение, как будто не обращая на меня внимания. Моя винтовка, лежащая поперёк верблюжьей спины, ещё не была поднята к плечу. Когда расстояние между нами дошло до сотни шагов, я уже приготовился схватить её и выстрелить в одного из ехавших рядом всадников, как вдруг рассмотрел украшавшие их шинели погоны. Свои!

Да, это были трое казаков, оставленных в Лежанке следить за занятием её «товарищами». От них я узнал, что красный разъезд уже вошёл в село. На мой вопрос:

— Сколько их?

Мне ответили:

- Коней двадцать.
- Да не коней, а «товарищей»?
- На кажном по одном! и с хохотом они зарысили дальше.

Получив эти малоутешительные сведения и не имея ни малейшего представления, как далеко ушла армия, я тотчас же приступил к изучению управления верблюдом. Я мучительно соображал: даны ли ему ноги только для того чтобы ходить, или они могут и бегать? Оплевавший меня в детстве верблюд ходил по своей клетке, а те, что я видел на пакетах с чаем Высоцкого¹⁸, тоже как будто шли, а не бежали. Свои тяжёлые сомнения на этот счёт я постарался разрешить при помощи моего шомпола. Вспомнив, что слон управляется постукиваньем молотка по голове, я постучал шомполом по верблюжьему черепу — никакого результата! Прибег я и к практикующемуся на Украине приёму для придания живости волам и тоже не добился успеха.

Исследуя постепенно все части верблюжьего естества, я уколол его шомполом под правую ногу и в ту же минуту неожиданно открыл две скрываемые им до сих пор недюжинные верблюжьи способности. Во-первых, выяснилось, что верблюды умеют прекрасно бегать. А, во-вторых, являются обладателями очень сильного и очень неприятного голоса, могущего быть вызванным в любую минуту по желанию кондуктора. Когда, получив укол, верблюд неожиданно прыгнул вперёд и перешёл в размашистую рысь, то я, не подготовленный к проявлению им такой прыти, чуть-чуть не оказался на земле и невольно вцепился в клок рыжего мочала на его горбе. И тотчас же не то рёв, не то трубный глас огласил степные пространства. Нечто похожее я слышал в моём обильном воспоминаниями детстве, налив стакан воды в раструб духового инструмента, когда на нём упражнялся мой сводный брат.

Мой верблюд бежал теперь очень быстро, а, дернутый за мочало, ревел. Удовлетворённый, я не предъявлял к нему больших требований, опасаясь открыть в нём сверх обнаруженных талантов способность обозлиться. Около трёх вёрст проехали мы рысью, после чего верблюд снова перешёл на шаг, но по первому моему требованию опять побежал. Сигнальное мочало тоже действовало без отказа.

Вскоре я догнал армию и, обгоняя тянувшуюся по дороге колонну, подал сигнал о своём прибытии. «Но здесь моя бессильна лира, здесь музы требуют Шекспира!»¹⁹

Своим слабым для данного случая пером я не берусь описать весь эффект, произведённый трубным гласом моего верблюда, и скромно ограничусь лишь главнейшими деталями: лошади бросились по сторонам, а находившиеся в колонне люди, точно сговорившись, обратили на меня своё пристальное угрожающее внимание: каждый имел, что сказать, и каждый — что-нибудь неприятное!

Быстро переключив верблюда на рысь и не имея желания оборачиваться на долго ещё продолжавшиеся крики негодования, в которых не были оставлены в покое мои родители и все предки до седьмого колена, я поскакал в голову колонны, где должна была находиться моя рота.

Моё триумфальное появление на верблюде не вызвало восторга ни со стороны полковника Плохинского, ни со стороны капитана Згривца, обрушившегося на меня со всей силой своего вспыльчивого характера и приказавшего передать верблюда в артиллерию, куда я и отвёл его на продолжавшей болтаться на его шее верёвке. Целоваться на прощанье с ним я не рискнул: кто его знает, что у него на уме!

Для верблюда эта история кончилась назначением в артиллерию, а для меня — новым внеочередным караулом с объяснением причины наказания: «Штоб не верблюжал!»

По возвращении из караула я уже отдельно от взвода спать не ложился!

Бронепоезд

Ласково смотрит весеннее солнце в светлое лицо зачарованной им степи. Ожила она, красавица, дождалась своего суженого! Для него скинула она своё серое зимнее покрывало. Для него оделась в праздничные наряды свои, бархатными лентами свежей зелени разукрашенные. Для него готовит платье подвенечное из белой ткани расцветающих вишен. Глядеть на неё — и то радостно!

А тут ещё и другая радость, будто сестричка её родная, к сердцу ластится: восстал, наконец, Тихий Дон, и Кубань за ним поднимается. Стряхнули они с себя смрадные чары красной нечисти. Вслед за Воскресением Христовым воскресли!

И всё кругом так радостно: и весело бегущие лошадки, и белые тряпочки на папахах восставших казаков, и приветливые лица казачек. Машут они белыми платочками, выносят глиняные чашки с варениками, смеются, улыбаются, подмигивают. Приветствуют 1-ю роту. Даже подводчики — и те веселы. Видно, и вправду наступило что-то новое. Никому и в голову не приходит спросить, куда и зачем едут на подводах добровольческие части. Конечно, в бой! Но разве может быть теперь что-либо серьёзное? Так, военная прогулка, визит к «товарищам». Завтра же, верно, и обратно!

Осталась позади станица, а впереди светлая, радостная степь. На одной из подвод весёлый поручик Недошивин разжился большой миской с варениками, а поручик Успенский ухитрился получить целый кубан холодной вкусной сметаны и, кстати, чмокнуть на ходу закрасневшуюся красавицу-казачку. Весело! Вареники со сладким творогом обмакиваются в сметану и исчезают во рту. Пиршество! С соседних подвод появляются гости и разделяют дорожную трапезу. Однако необыкновенное скопление людей у одной подводы возбуждает любопытство взводного командира капитана Згривца, видимо, усмотревшего в этом нарушение порядка и считающего своей обязанностью его восстановить. Згривца угощают с особым радушием.

«Ну, и будя!» — говорит он, довольный, вытирая усы. И, разогнав по подводам «гостей», бежит к своей. И смеётся кругом степь и, радуясь на неё, красавицу, улыбается ей солнце.

В прозрачно-сером, всё темнеющем плаще медленно идёт навстречу вечер. Пришёл. И уже не серый. Снял он свой плащ. Стоит за ним, вся в чёрном, тихая ночь и обдаёт тёплым дыханием. Словно растёт она, до самого неба доходит, зажигает на нём звёзды и выше идёт, только подол своего платья по земле волочит.

Остановились подводы. Попрыгали на землю люди, построились и двинулись в непроглядную темень уснувшей степи. Чёрным покровом своим окутала их ночь, распустила чёрные косы свои и закрыла ими звёзды. Руку вперёд протяни — так и пальцев своих не увидишь.

— Рота, стой!

Долго стоит рота.

— Командира 3-го взвода к командиру роты!

И снова тягостное ожидание. И время стало: не то полночь, не то три, а, может быть, и больше.

- Поручик Успенский! раздаётся голос капитана Згривца. Шесть человек под Вашей командой для охранения фланга!
- Поручик Недошивин, прапорщик Штемберг, прапорщик Тихомиров, прапорщик Евдокимов, прапорщик Рубашкин²⁰, прапорщик Васильев! За мной!

Потонули в тёмной степи призрачные тени отделившихся от роты людей. Спит степь: ни звука, ни шороха. И снится ей: то припадая к земле, то согнувшись, медленно двигаются вперёд, рассыпавшись редкой цепочкой, беззвучные людские тени. Вот залегли они и долго лежат неподвижно, слушая тишину ночи. Вот опять встали, двинулись вперёд и снова залегли. «Не бойтесь, родненькие, пусто кругом, никого нет!» — шепчет им сонная степь.

- Господин поручик, перед нами железнодорожная насыпь, докладывает идущий впереди поручик Недошивин, сажени три-четыре высотой.
- Поднимитесь на насыпь, приказывает поручик Успенский, и если не обнаружите противника, пришлите сказать. Возьмите с собой одного человека.
 - Прапорщик Рубашкин, со мной!

В густой траве высокой насыпи осторожно ползут вверх два призрака. Достигли балласта, рассмотрели в темноте полоску ближайшей рельсы. Залегли, прислушались: ни звука! Вылезли на полотно и сели на рельсу. Что тут рассмотришь, когда и собственного носа не видно?

- Никого кругом нет, уверенно шепчет Недошивин. Не ждут нас «товарищи», спят. Да и охота им воевать, когда ещё и черти на кулачки не бились. Зови Успенского!
- И вдруг отдельный, сравнительно недалёкий выстрел, за ним другой, третий и короткая беспорядочная стрельба. И опять всё стихло. Ох, не спят «товарищи»!
- Это, вероятно, наши красную заставу сняли, говорит поручик Успенский пришедшему за ним Рубашкину и, подняв лежащих возле него людей, идёт с ними на насыпь. Недалеко, должно быть, и до рассвета: стало сереть тёмное до того небо. И на два шага не было ничего видно, а теперь и на десяток кое–что разобрать можно. Да, светает!

- Бронепоезд! шепчет поручик Успенский и, встав на одно колено, всматривается в темноту, откуда, всё нарастая и нарастая, слышатся глухой шум и мерные удары колёс по стыкам рельсов.
- Ложись! Не двигаться! Не выдавать своё присутствие! валясь между рельсов рядом с Недошивиным и Рубашкиным, приказывает поручик Успенский. Четверо других соскользнули с рельсов и лежат неподвижно у края насыпи.

Внезапно вынырнув из расступившейся темноты, чёрной тяжёлой массой накатывается железное чудовище. Медленно вертятся круглые диски колёс, и ползут над головой чёрные днища вагонов. Вот и колёса паровоза. Что если опущена заслонка его топки? Тогда нет спасенья: в клочья разорвёт она тела трёх распластавшихся на пути офицеров! С землёй слились они, сильнее к шпалам себя придавили и только тогда заметили, что прошёл паровоз, когда снова завертелись перед глазами колёса вагонов, но только медленнее и медленнее, будто собираясь остановиться. Стали. Прямо над головой грязное днище вагона с полуопущенным люком.

- Успенский, Успенский, есть у тебя ручная граната?
- Не Успенский, а господин поручик! Лежать! и в шёпоте ответа слышит Рубашкин властную и грозную нотку.

И вдруг загрохотал бронепоезд, ливнем свинца в степь брызнул. От тяжёлых ударов его мощных орудий сотрясаются вагоны и дрожат под ним рельсы. Долго гремит его непрерывная пулемётная стрельба, и грохочут орудийные выстрелы. Почему молчат наши?

Но вот, прерывая грозный монолог бронепоезда, ворвалась и новая нота. Это уже не выстрел, это — близкий разрыв! Второй, третий, четвёртый. Всё чаще, всё ближе! А вот и что-то другое: к треску разрыва присоединяется ещё новый звук — не то скрежет, не то звон.

— Прямо в него! — торжествующе шепчет Недошивин и тычет пальцем в днище вагона.

Вздрогнул бронепоезд, стукнулись друг о друга буфера, и всё скорее и скорее завертелись назад колёса. И никто не заметил, как прокатил над головами паровоз. С грохотом пронёсся и последний вагон. Кругом разливается свет па-

смурного утра. Смолкли пулемёты, изредка огрызаются ещё орудия. С минуту лежат на полотне неподвижно люди, только поручик Успенский чуть—чуть приподнял голову и смотрит вслед ушедшему бронепоезду.

— Встать! — и, полусогнувшись, идёт к противоположному краю насыпи, но, не пройдя и трёх шагов, падает и, махнув рукой, зовёт к себе свою маленькую группу.

Там, по ту сторону, не далее сотни шагов, густые цепи красных идут к насыпи. Первая цепь уже подошла к ней и начинает взбираться по крутому откосу.

— Огонь!

Лихорадочно затрещали семь винтовок, стреляя почти в упор, едва целясь. Бросились назад «товарищи», на сотню шагов отскочили и открыли беспорядочный и безопасный огонь по неожиданному и невидимому противнику.

— Назад! Скорее! — приказывает поручик Успенский.

Кубарём скатываются с насыпи семь человек и бегут по уже довольно высокой траве прочь от грозящего появиться противника. Более чем на четыреста шагов отбежали и залегли в неглубокой канаве — дух перевести. Только теперь оделся гребень насыпи чёрной щетиной красной цепи. Но она не идёт вперёд, видимо, стараясь обнаружить неизвестно куда исчезнувшего врага. Спрятала его степь в складку одежды своей и не выдаёт «красному» глазу. Но уже передохнули семеро и поползли дальше по дну канавы. Изредка поднимется одна голова, посмотрит на насыпь и опять спрячется. И дальше ползут они, туда, где должна быть их рота. Долго ползут. Показалось ли им, или вправду что-то шевельнулось? Человек? Свой? Чужой? В четырнадцать глаз впились в скрытую травой фигуру. Капитан Стасюк! Наша рота!

Да, это первая рота. Невидимая, лежит она в канаве и держит под наблюдением железнодорожную насыпь. Ни выстрела, ни звука: ждёт, когда начнут спускаться занявшие насыпь «товарищи». Сразу отлегло от сердца. Опять вместе! Кончился кошмар, и не пугает готовящаяся атака. Не впервой встретит рота красные цепи, не впервой огорошит их неожиданным огнём и бросится на растерявшихся «товарищей», погонит их и у них «на плечах» ворвётся в станицу.

— Прапорщик Евдокимов, ступайте к взводному командиру и доложите о скоплении противника за насыпью, в обход левого фланга роты, — уже не шёпотом отдаётся приказание, и в знакомом голосе поручика Успенского слышится привычная речь, вливающая в нас спокойную уверенность.

Куда спряталось вчерашнее солнце? На сером фоне неба тёмной полосой тянется насыпь. Вправо, ровная как стрела, дотянулась она до моста через неширокую речку и спряталась за ним. Влево, всё понижаясь, резко свернула она направо и исчезла в железнодорожных посадках, откуда перед рассветом так неожиданно вынырнул бронепоезд. Верно, там и стоял, может быть, всего в двадцати шагах.

Но не время смотреть по сторонам, не время вспоминать то, что вместе с чёрным покровом своим свернула и унесла с собою ночь. Смотри туда, где на гребне насыпи изредка появится человеческая фигура, постоит и исчезнет. Прямо перед собой смотри!

От свежего, сочного весеннего стебелька отгрыз прапорщик Рубашкин небольшое — не длиннее спички — коленце. Поставил его на большой палец, сверху указательным придавил и, вытянув вперёд руку, смерил появившуюся на насыпи фигуру. Вовремя смерил: 600–700 шагов.

Зубцами частого гребня встопорщилась насыпь: поднялись красные цепи и стали спускаться на ровную скатерть степи. И тотчас же начали рождаться над ними белые облачка шрапнельных разрывов. Махровыми снежно-белыми фантастическими цветами расцветают они на скате насыпи, и гремят позади роты сеющие их орудия. Молчит рота, затаила дыхание и ждёт.

Кроваво-красными цветами в ореоле желтовато-бурых широких кустов распустились в красных цепях разрывы бризантных гранат. Всё медленнее движутся «товарищи», всё чаще залегают, всё неувереннее их шаг. Не более чем через минуту губительным огнём встретит их пока ещё молчаливая рота, бросится на первую смятую цепь, опрокинет её и погонит назад на другие цепи, и увлекут они и других в своём неудержимом бегстве. И воцарится тогда властительница толпы — паника. Сметёт она обезумевшими толпами бегущих и всех, кто вздумает сопротив-

ляться ей, обезоружит рабов своих и передаст их смерти. Так было всегда, так будет и теперь!

— Прямо по цепи! Дистанция 300 шагов! Огонь!

Словно крупный град забарабанил по железной крыше. Частыми отчётливыми трещотками ворвались и покатились по всему фронту роты резкие голоса пулемётов, чаще загрохотали орудия. Адский джаз-банд! Джаз-банд боя!

Не выдержала красная цепь, не выдержала и кинулась назад. И бросилась за ней 1-я рота. Разворачивается бой, как выученная наизусть сказка. Всё так и должно быть в ней, и конец её заранее известен.

Вот уже и нет красных цепей. Перемешались они и густыми неуправляемыми толпами бегут назад к насыпи и, сбиваясь в кучи, несут тяжёлые и ненужные потери. Ни к сопротивлению, ни к самосохранению не способно теперь это обезумевшее стадо.

Ясная задача стоит перед ротой: вскочить на насыпь «на плечах» бегущего противника, не дать ему опомниться и закончить разгром его с удобной и неприступной позиции. В своём быстром движении вперёд оставила она далеко позади своего командира. Не догнать уже пожилому полковнику Плохинскому несущуюся вперёд молодёжы! Отстал он, шагов на триста отстал, а до насыпи и двухсот не осталось. Последнее усилие, последнее испытание крепости сердца, а там можно уже и передохнуть. Устало оно от долгого бега, ударами молотка в груди стучит, нужен ему отдых!

И вдруг оборвалась заученная наизусть сказка, на полуслове оборвалась, заглушённая стремительным треском красных пулемётов. Густой щетиной резервов обросла насыпь и свинцовым дождём облила цепь первой роты. Будто стальные бичи полосуют истерзанную грудь степи. Залегла рота — ни вперёд, ни назад. С высокой насыпи, как на ладони, виден каждый стрелок цепи. Видны они все, прошедшие через Лежанку, Березанскую, Выселки, Кореновскую, Усть-Лабу, Гначбау, Ново-Дмитровскую, Георгие-Афипскую, Екатеринодар, Медведовскую. Выбирай любого! Вон лежат они в десяти шагах друг от друга и не видят друг друга, и не знают, убит или не убит ещё сосед!

— На дистанцию пятьдесят шагов! Отходи по одному! — передают приказание капитана Згривца.

Широка степь, да невелик на ней человек: коли не давать в него целиться, так и не попадёшь. Редкий, но прицельный огонь по насыпи, по всему, что только шевельнётся на ней, поможет ему отбежать на пятьдесят шагов и оттуда поддержать отход боевого товарища.

Поднялся первый, отскочил на пятьдесят шагов и залёг. Следующий. И он отбежал. Третий поднялся, всего несколько шагов пробежал, упал и не поднялся. Кысмет!

Долгим, бесконечно долгим кажется быстрый отход взвода. Но вот и последний — капитан Згривец. И тотчас же новый приказ:

— Отходить по одному!

И снова не все достигают нового рубежа. Кысмет! Но вот, наконец, и исходная канава. Первое укрытие, первый вздох облегчения.

— Капитан Згривец, примите роту!

На сером, землистого цвета лице полковника Плохинского лежит печать полного отчаяния. Уже во второй раз видит его таким прапорщик Рубашкин, во второй раз передаёт он командование ротой капитану Згривцу. Или очки потерял, или... сердце. Не таков полковник Плохинский: ни тяжёлая боевая обстановка, ни безвыходность положения не смутили бы мужественного командира, не смутила бы его и верная гибель! Может быть, потери? Ему одному известны они и только один он может оценить их значение, как и тогда, под Екатеринодаром.

- Рота, слухать мою команду! во весь рост поднялся капитан Згривец и с хриплым вздохом упал навзничь. Убит наповал!
- Выньте документы, указывая на отдувшийся карман его гимнастёрки, приказывает полковник Плохинский, и дайте сюда.

Склонился над телом своего командира прапорщик Рубашкин, снял с его груди лежавшую на ней неподвижно руку и вынул из кармана гимнастёрки небольшую книжку. На чёрном коленкоровом переплёте вытиснен восьмиконечный крест. Отвернул переплёт: поминальник. Заглянул на первую страницу. Старательным, но неровным почерком исписана она длинным столбцом имён. Только первое имя успел прочесть: раба Божия Владимира. Дальше не выдержали нервы. На мёртвой

груди только теперь вполне понятого им человека судорожно зарыдал Рубашкин.

— Прапорщик Рубашкин, возьмите себя в руки! Ступайте в цепь, красные наступают!

Но не слышит Рубашкин. Только тогда и опомнился, когда почувствовал, что кто-то тянет его за собой. Узнал поручика Недошивина.

- Згривец убит!
- **—** Да?!

И в коротком ответе, и в закушенной зубами губе, и в выкатившейся из глаз и сбежавшей по щеке крупной слезе— словно разделилось и облегчилось непосильное одному горе: Згривец убит!

А в это время впереди снова спустились с насыпи красные полчища и идут на поредевшие ряды роты. Вон и слева появились густые цепи и заходят во фланг. И ни одного человека в резерве, только гремят без перерыва наши орудия. То здесь, то там рвут они широкие бреши в бесконечных и бесчисленных цепях противника, но не могут остановить его. Да и орудия красных не остаются в долгу: много белых цветов шрапнели посадили они над линией роты, много фонтанов чёрной земли подняли их гранаты, много кроваво-красных цветов расцвело вокруг роты. Частый огонь ведёт она по наступающим и знает, что не удержит их, разве что нанесёт большие потери. Одна надежда на пулемёты.

В чём дело? Почему остановились «товарищи» и назад отходить стали? Видно что-то неладное творится у них. И орудия их как будто смолкают, и бегут назад к насыпи грозившие охватом красные цепи.

— Рота, вперёд!

Поднялась рота и вперёд двинулась. Но какая маленькая! Совсем не такая, как та, что атаковала и погнала «товарищей» к насыпи. Или не все приказание слышали? Или не видят они, что не наступают, а бегут красные, всё более теряя порядок и бросая оружие?

Бежит в цепи роты и прапорщик Рубашкин, бежит и не понимает, почему бегут красные. И не понимает он, почему не слышно треска от разорвавшегося перед ним снаряда и почему в высоком размахе закачалась перед ним степь, почему пропало небо и почему опускается он в глубокую чёрную яму...

Новочеркасск. Госпиталь Общества донских врачей. В большой светлой палате с рядами белых, покрытых чистым бельём кроватей, в больничных халатах, кто на костылях, кто с забинтованной головой, кто с перекинутыми через шею полотенцами, поддерживающими широкие лотки с покоящимися на них загипсованными руками, вспоминают офицеры 1-ой роты все перипетии боя у Сысоки и погибших в нём товарищей.

- Господин поручик, обращаясь к Успенскому, говорит Рубашкин, почему тогда побежали красные?
- Брось ты поручика! Здесь мы не под колёсами бронепоезда. Почему побежали? Да потому что генерал Марков с Кубанским полком в тылу у них и станцию, и станицу занял. Куда же им было деваться? Все почти в плен попали.
- А бронепоезд? Каким образом мы его только в последний момент услышали, когда в царившей тогда тишине его за версту услышать было бы можно?
- Да он не подходил, а попросту там и стоял. И если бы не началась эта бессмысленная ночная стрельба, то, вероятно, мы оттуда и ног бы не унесли. Тем только и спаслись, что он ещё в темноте двинулся и нас не заметил. А всё Недошивин. Пройди он тогда на три шага в сторону, так на него бы и наткнулись!
- Ну, возражает Недошивин, если бы мы об него мордами ударились, то и тогда бы не заметили: уж очень темно было.
- Успенский, а почему ты мне тогда гранату не дал, да ещё и одёрнул? Я же знал, что у тебя есть.
- А потому и одёрнул, что больно горяч ты, Рубашкин, а в нашем деле только одна воля могла быть, о чём я тебе и напомнил. А гранату не дал я тебе, чтобы семи лишних трупов не было, причём безо всякой пользы!

Горлач сметаны

Второй Кубанский поход. Первый Офицерский генерала Маркова полк наступает на станицу Екатериновскую. Наша 1-я рота пополнена казаками-кубанцами взамен павших в 1-м Кубанском походе. Но нет уже её доблестного командира полковника Плохинского. Нет и старых командиров взводов. Ротой командует единственный уце-

левший из них — капитан Павел Поляков. Нет и нашего взводного — капитана Згривца. Взводом командует штабс-капитан Василий Михайлович Крыжановский. Нет и половины старого состава роты, украсившего именами своими длинный синодик «рабов Божьих, за други своя живот свой положивших».

Кое-как подлечившись, вышли из госпиталей и заняли места свои в строю офицеры нашего 3-го взвода: получивший дар речи Миша Смиренский, «отдышавшийся» после прострела обоих лёгких Шура Тарабанов, меланхоличный Якушев, шествующий в строю вприхромку Жорка Залёткин, Костя Недошивин, ещё не вполне уверенный в мощности своих наскоро «склеенных» рук, Сева Крыжановский, потерявший фунта три мяса после знакомства с пулей ружья Гра (1871-го года!), и многие другие.

Дух Згривца не умер: во взводе царит та же сильная спайка прошедших огонь, воду и медные трубы людей, та же вера в успех, то же безумное дерзание солдат генерала Маркова, те же песни и веселье молодости.

Первые числа июля. По открытой степи под жгучими лучами летнего солнца редкой цепью развернулась 1-ая рота. Со стороны противника ни выстрела, ни разрыва хотя бы одной шрапнели. Так и прошли мы вперёд, пожалуй, с версту. Если бы не жажда, то, вероятно, никто бы не имел ничего против этой мирной прогулки. Однако всё усиливающаяся жажда начала вызывать раздражение и критику нашего необъяснимого строя. По адресу капитана Полякова послышались едкие и неодобрительные замечания. Взводные остроумцы принялись уверять, что новый ротный производит обучение рассыпному строю, не будучи уверен в наших жидких познаниях в этой области. Особенно негодовал Недошивин, до дна опорожнивший свою баклажку и не видевший иной возможности утоления жажды, как упиваться излиянием своей жёлчи на голову того же Полякова.

Перед нами продолжала расстилаться ровная кубанская степь, слегка поднимавшаяся к горизонту и не хранившая никаких признаков присутствия противника. Далеко впереди маячили наши конные дозоры.

Прошли ещё полверсты. Завиднелись впереди высокие поля кукурузы, а прямо передо мной — обнесённый

плетнём одинокий хуторок с высоко глядящим в небо колодезным журавлём. Оазис! Вот возможность наполнить опустевшие баклажки водой, а сердца — умиротворением и примирением с необъяснимым поведением нового командира. Тотчас изменилось упадочное настроение. Поручик Недошивин, излив из себя всю накопившуюся жёлчь, первый впал в обычное весёлое настроение.

Однако шагов за 400 до благословенного «оазиса» внимание всех было привлечено скакавшими к нам дозорными. Наше предположение об обнаружении противника получило полное подтверждение ещё до прибытия верховых в виде высоко взметнувшегося к небу фонтана земли и раскатившегося по степи треска разорвавшейся гранаты. Близко, но потерь нет. Новый треск — новый фонтан земли, потом всё чаще и чаще. Ага! Начинается!

До хутора ещё сотня шагов. По цепи передаётся приказание: «Держать дистанцию, не разрываться!» Наше звено — Недошивин, я, Пелевин, Крылов и Тихомиров — подходит к плетню. Четверо лезут через него, и только я один пользуюсь благосклонным вниманием судьбы, расположившей на пути моего следования широкие ворота, сквозь которые я и проникаю во двор без всяких предварительных гимнастических упражнений. Не ограничившись этой первой любезностью, судьба воздвигает передо мной и вожделенный колодезь. Эта очевидная протекция не ускользает от завистливых взоров моих, менее фаворизированных, соратников, решивших тотчас же пристроиться на халяву к триумфальной колеснице Фортуны, на которой было отведено место только моей симпатичной особе. Это засвидетельствовала четвёрка полетевших в меня пустых баклажек, которые, подобно древним римским сенаторам, «cum tacent clamant» (молча вопиют). Ничего удивительного! Кто хочешь, возопит, ежели в нём, ну, никакого содержания жидкости!

Наполнение у колодца пяти баклажек мало того, что потребовало времени, но и допустило опасный прорыв в цепи, чем тотчас же и воспользовался противник, ознаменовавший своё недалёкое присутствие градом ружейных выстрелов, но всё же, несмотря на моё отсутствие в строю, атаковать не решившийся.

Перекинув через плечо все пять наполненных баклажек, я уже собирался закрыть собою опасную брешь в це-

пи, как вдруг со дна рога расточительной Фортуны мне на голову высыпалась пожилая казачка. Собственно говоря, она не то чтоб высыпалась мне на голову (это, конечно, только аллегория), а вышла на крыльцо находившегося за моей спиной дома. Её оклик заставил меня обернуться. Покинувшая меня на мгновение врождённая храбрость снова мужественно вернулась на место при виде добродушного лика хозяйки, своим бабьим обликом гарантировавшей мне полную и несомненную безопасность.

Как рвущийся в бой хороший конь, спросил я её таким тоном, что в ней не могло зародиться и тени сомнения в моей доблести и отменном мужестве:

— Где красные?

Очевидно, незнакомая с тонкостями литературного языка, казачка ответила в прошедшем времени:

— Да туточки булы, да с час как поутекалы. Нат-ко! — протянула она мне большой глиняный горлач, обвязанный под выступом горла верёвкой, создававшей ручку.

«Карамба! Сакрамента! Масгорка и Розас!» Большой горлач был полон великолепной густой холодной сметаной!

Здесь я должен сделать маленькое отступление и пояснить читателю смысл восклицания, вырвавшегося из моей восторженной груди. Оно было изобретено ещё в 5-м классе гимназии и с тех пор служило мне для выражения всевозможных чувств: восторга, изумления, протеста, недоумения и прочего. Выгоды этого восклицания заключались в том, что в нём не было ничего обидного или воспрещаемого правилами хорошего тона: ни брани, ни божбы, ни чертыханья. И когда я однажды, получивши единицу за латинское экстемпорале, горестно воспроизвёл своё восклицание, а посчитавший его за оскорбление преподаватель пожаловался директору, то мне не стоило никакого труда объяснить разбушевавшемуся начальству, что «Карамба», «Сакрамента», «Масгорка» и «Розас» суть только произведения Эмара Густава²¹ и ничего обидного в них нет.

Так и в данном случае, при получении горлача со сметаной названием этих четырёх произведений я вполне выразил всю богатую гамму овладевших мною чувств.

Но догнать ушедшую на сотню — а то и две — шагов роту оказалось не так-то просто из-за непредвиденной для боёв

и походов нагрузки и необходимости перелезть через плетень, доходивший до груди. Винтовка, патронташ, баклажки, вещевой мешок оказались за плетнём раньше меня, а я с моим драгоценным горлачом тщетно исхищрялся присоединиться к ним. Выручила меня всё та же казачка, подержавшая горлач, пока я преодолевал препятствие. Вновь нагрузившись по ту сторону плетня, имея за спиной винтовку, а в руке горлач, я бодро зашагал к кукурузе, куда уже скрылась наша цепь. Снаряды красных орудий проносились над головой и рвались далеко позади, в давно пройденном ротой пространстве. Где-то очень высоко жужжали одиночные пули. С нашей стороны — полное молчание.

Догнал я своих в густой кукурузе, где они расположились в ожидании выяснения обстановки и приказа двигаться вперёд. Баклажки были сразу же разобраны и тотчас же наполовину опустошены, но божественный горлач не покидал моего общества и находился под бдительным наблюдением. Сравнительно долгое лежание без дела быстро нарушило основной порядок цепи, сделав её больше похожей на сбившиеся в группочки воробьиные стайки. Сбилась вокруг меня и наша пятёрка, сперва скромно косившаяся на мой горлач, но вскоре заинтересовавшаяся его содержимым. Сделанное сенсационное открытие тайны глиняного сосуда породило естественное желание воспользоваться всеми благами земного существования. В первую очередь горлач перешёл в руки Недошивина — хоть и маленькое, а всё же начальство!

Неожиданное приказание: «Вперёд!» — и горлач исчез в зарослях кукурузы, вместе с Недошивиным. Угрожающие, умоляющие и горестные крики понеслись вслед ему и сметане. Но, прошедши кукурузу, мы снова увидели друг друга. К великому счастью четверых обездоленных, защиту наших общих интересов взяла на себя Недошивинская совесть, укусившая его прямо в сердце и потребовавшая передачи горлача Пелевину. От него он перешёл ко мне, от меня — к Крылову, от Крылова — к Тихомирову, откуда снова предпринял путешествие к левому флангу. Трижды проделал горлач свою дорогу вдоль звена и всё ещё оставался наполовину полным.

А тем временем кончились кукурузные дебри. Мы идём по ровному пологому скату. Шагах в восьмистах впереди

— цепи красных: то ли стоят на месте, то ли отходят. Открытый по нам огонь — вялый, лишённый силы и прицельности. Теперь уже ясно, что «товарищи» отходят, но странно медленно, не торопясь. Мои дальнейшие наблюдения прерываются вернувшимся ко мне горлачом. Освежив горло и ублажив мамон, передаю горлач Пелевину, не упустив заметить, что сметана убавилась в значительно меньшем количестве, чем за время первых путешествий «туды-сюды и обратно».

Вот уже более пятисот шагов, как мы вышли из кукурузы и идём по открытому месту. Расстояние между нами и противником сократилось, но красные цепи всё ещё не теряют порядка. Тревожно и подозрительно! Мой обеспокоенный взгляд обращается в сторону Недошивина. Тот идёт ускоренным шагом с винтовкой на ремне, изредка останавливаясь и отхлёбывая глоток сметаны. Стало быть, мои опасения преждевременны. Не проявляет беспокойства и Пелевин, вступающий в обладание горлачом и тоже принуждённый останавливаться для поглощения своей порции. Судя по углу подъёма запрокинутого над его головой горлача, сметаны остаётся ещё достаточно: до перпендикулярного положения ещё далеко.

Я уже приготовился принять горлач, как вдруг вместо Пелевина перед моими глазами блеснуло большое белое солнце, за которым исчезла фигура соратника. В следующую секунду я увидел его поднимающегося с земли. Вместо лица, на котором не было ни глаз, ни носа, ни рта, расплылось только одно белое пятно. Всё было залеплено густой сметаной!

Однако охвативший меня сперва смех сразу оборвался, как только я увидел, как быстро начала краснеть эта белая сметанная маска, уже через минуту обратившаяся в сплошное кровавое месиво. Пуля, разбив горшок, вероятно, соскользнула и попала в шею. Сама по себе рана не была тяжёлой, но обильное кровоизлияние грозило лишить его силы двигаться. Стараясь зажать рукой рану, Пелевин быстро побежал назад к кукурузе.

Мне не удалось проследить за ним: то, что я смутно предчувствовал, разразилось. Сильный огонь обрушился на нас, и почти одновременно за спиной отходивших красных цепей поднялись и перешли в контратаку скрывав-

шиеся в высохшем русле ручья или речушки многочисленные красные резервы.

Насколько охватывает глаз вправо и влево, погнулись наши цепи и начали отходить. Дистанция между нами и противником равна расстоянию между нами и кукурузой, где мы, несомненно, примем их контратаку. Красные полчища валят густой массой, стреляя на ходу. Огонь сильный, но малодейственный. Недошивин приказывает, медленно отходя, вести прицельный огонь. От этой системы приходится скоро отказаться, так как расстояние между нами и красными сокращается гораздо скорее, чем между нами и кукурузой. В некоторых местах наши цепи уже входят в неё, а нам остаётся ещё шагов 300. Надо поторапливаться! Но, что хуже всего, покровительствующая мне до сих пор Фортуна вдруг перестала интересоваться моей особой. Расстреляв находившуюся в винтовке обойму, я убедился, что мой патронташ, хранивший шестьдесят патронов, остался висеть на плетне хутора. «Карамба! Сакрамента! Масгорка и Розас!»

Мой вопль о доставке мне патронов Крыловым оставлен без ответа. С другого фланга я услыхал голос Недошивина и невольно повернулся к нему. Недошивин лежал на земле. Он сделал попытку подняться и снова рухнул. Я бросился к нему. Он лежал неподвижно. Будто из лейки вокруг него была разбрызгана кровь, ею были залиты и его шинель, и его лицо. Крылов и Тихомиров уже бежали, не дожидаясь моего зова.

— Юра, голубчик, не оставляй! — услышал я приглушённый голос и тут только заметил, что из угла его губ сочилась кровавая пена. Как будто были ещё оторваны пальцы на его руке. «Ведите Костю, — приказал я Крылову и Тихомирову, — а я буду прикрывать ваш отход».

Не знаю, кто думает за нас в такие тяжёлые моменты, но думает он не всегда хорошо. Во всяком случае, тот, кто думал за меня, остротой мысли не отличался. Дав им отплестись шагов на пятьдесят, я вдруг вспомнил, что у меня нет ни одного патрона! Исковерканная пулевым попаданием винтовка Недошивина валялась возле меня. Я схватил её и открыл затвор. В магазине оказалась целая нетронутая обойма.

Красные заметили отвод раненого, и трое их кавалеристов устремились к нам, вероятно, считая нас лёгкой добычей. До сих пор я лежал на земле, но теперь пришлось встать навстречу коннику. Он уже был не более чем в семидесяти шагах от меня и не уменьшал хода. Я прицелился. Он осадил коня и начал что-то кричать. Должно быть, предлагал сдаться. Я сделал ему знак, предлагая приблизиться. Он двинулся ко мне, но с осторожностью. Я снова прицелился, а он отскочил назад. Между тем, подскакали двое других красных. Чтобы не иметь дела с тремя, я выпустил одну пулю. Теперь их осталось только двое.

И тут тот, кто думал тогда за меня, начал соображать безукоризненно. Он вдруг понял, что эти конники, болтающиеся между нами и красными цепями, мешают скосить нас огнём, а потому являются не врагами, а защитниками. Когда, обернувшись, я увидел, что волокущие Недошивина Крылов и Тихомиров находятся приблизительно на равном расстоянии между мной и спасительной кукурузой, тоже принялся медленно отходить, время от времени вскидывая винтовку и целясь в неотстававших «товарищей». Один из них произвёл было попытку подскакать со стороны, но был встречен огнём нашей цепи из кукурузных зарослей. Лошадь его была убита, а сам он на четвереньках пополз назад и, чуточку отойдя, вдруг вскочил на ноги и опрометью бросился к своим цепям. Последний конный тоже повернул коня и поскакал к своим. За неимением коня я тотчас же повернул пятки к противнику и с неожиданной для самого себя прытью понёсся к кукурузе, куда уже втаскивали Недошивина. Ружейный огонь красных бил, словно молотками по голове, когда я, наконец, бомбой влетел в кукурузу, где и распластался на земле, забыв, как зовут моих папу и маму! А через час мы опрокинули красных и взяли Екатериновку.

С тяжёлым чувством пришёл я на перевязочный пункт. Всё как-то не верилось в возможность смерти Недошивина. «Вывернется», — утешал я сам себя. Но Костя не вывернулся. Пуля попала ему в спину, пробила желудок, расщепила ложе винтовки и оторвала четыре пальца. Я застал его в предсмертной агонии. Он не узнал меня.

Как хорошо, как весело начался этот день и как трагично окончился! Жужжат, кружатся веретёна. Ткут три

древние старухи, три седовласые парки, нити человеческой жизни. Ровно тянется нитка, и нет ей причины оборваться. Но вот ударила по ней костистой рукой старуха-парка и оборвала! А вон у той нить на последнем волоске держится, вот-вот оборвётся. Добавит старуха волокна и ткёт дальше.

В воле парки оборвать нить человеческой жизни, но не в её воле оборвать нить человеческой памяти. Убит Костя Недошивин, но он остался живым в моей памяти. Много, много соратников, подобно ему, ушло из жизни, но остаются живыми для меня и умрут только вместе со мною.

Заяц

Одно из самых решительных сражений с Красной армией на Северном Кавказе²², отбросившее её почти на сотню вёрст назад, было выиграно зайцем при самоотверженной помощи, оказанной ему полковником Юрасовым.

Предупреждаю, что вовсе не следует думать о каком–либо техническом выражении, способном ввести в заблуждение неискушённого читателя. Нет, господа! Это был самый натуральный, стопроцентный, чистопробный заяц, такой, как и все зайцы. От описания его внешности я воздержусь, так как я сам—то не слишком подробно разглядел его — до того ли тогда было! Каждый из вас видел зайца, следовательно, описывать его незачем. Но я всё же сознаю необходимость объяснения моего столь смелого и, казалось бы, столь же невероятного утверждения, что бой был выигран только благодаря зайцу.

Начать я должен немного издалека, а именно, с кануна того дня, в который произошёл этот оставшийся для меня весьма памятным бой. Зайца тогда ещё не существовало или, вернее сказать, он уже существовал, но мы-то этого не подозревали и не интересовались его существованием. Начинаю же я с кануна боя, потому что в этот день прибыл в полк новый штаб-офицер, полковник Юрасов, впервые попавший на фронт гражданской войны и не имевший о нём до того времени ни малейшего представления. Приехал он не то с французского, не то с Македонского фронта и за неимением вакантной должности был назначен помощником командира 1-го батальона 1-го

Офицерского генерала Маркова полка. Эта фантастическая должность не накладывала на него никаких обязанностей, а потому и не давала никаких прав, за исключением права ночевать в штабе батальона, а в строю болтаться, где ему вздумается.

Лет ему было за сорок. Одет он был в очень аккуратно пригнанную польскую бекешку, на голове — серая офицерская папаха, на ногах — тёплые войлочные сапоги на кожаной подмётке. Среди нас, одетых весьма и весьма своеобразно — в чём Бог послал! — он, только что прибывший, выгодно отличался своим офицерским видом, который мы, увы, утеряли. Попал он в штаб полка как раз к концу наступательного боя, когда, уже разбив красных, мы находились в фазе преследования. В этом бою он не принимал участия, а наблюдал его издалека и был приведён в состояние полного восторга нашими действиями. Появившись сейчас же после боя и отрекомендовавшись, он довольно неожиданно воскликнул: «Марковцы! Ваши имена должны быть записаны золотыми буквами на брильянтовой доске!»

- Не дороговато ли обойдётся? озабоченно справился один из нас.
- Пожалуй, согласился полковник Юрасов. Ну, тогда брильянтовыми буквами на золотой доске!
- Это, конечно, дешевле, сообразили все, а на сэкономленные суммы можно купить папирос и выдать всем хотя бы по одной штуке. Ужас как курить хочется!

Юрасов немедленно вытащил свой золотой массивный портсигар, украшенный всевозможными монограммами, и угостил желающих. В минуту портсигар оказался пустым, и не всем ещё хватило.

— Подождите немного, господа, — поспешно выходя из хаты, сказал Юрасов.

Вскоре он вернулся с большим чемоданом из жёлтой кожи, хранившим, как оказалось, целый склад английских папирос, которые он тут же начал раздавать присутствующим.

- Господин полковник, да Вам самому ничего не останется! запротестовали офицеры.
- Глупости, господа! Вы же терпели, ну и я потерплю, когда не будет.

Оставался он с нами до позднего вечера, много и увлекательно рассказывал и интересовался буквально всем, с чем нам пришлось сталкиваться за время нашей боевой жизни. Остроумию его и острословию, казалось, не было предела. На всех он произвёл отличное впечатление.

Курили в тот вечер с таким остервенением, что у меня, некурящего, начинало мутиться в голове, и я несколько раз выходил из избы проветриться. К всеобщему удивлению, полковник Юрасов обратил внимание на то, что никто не закуривал третьим от одного огня, и попросил объяснить это непонятное ему правило, что тотчас же и было исполнено²³.

- Да верно ли, господа? с большим сомнением прищурился Юрасов.
- Будьте уверены, господин полковник! Тысячи раз на всех фронтах проверено. Аптекарская точность!
- А существуют ли и другие столь же точные приметы? Вы, господа, понимаете, что человеку, который, подобно мне, дорожит собственной жизнью, необходимо принимать все меры предосторожности!

Тотчас же сообщили ему весь перечень, весьма богатый, дурных примет, а в их числе и о зайце. Заяц особенно заинтересовал Юрасова, решительно не понимавшего, как можно в бою гонять зайца.

— Вот обживётесь с нами, сами увидите! — ответили ему многозначительно.

Обживаться полковнику Юрасову довелось не слишком долго, всего до завтрашнего утра, когда ему пришлось сдать экзамен по предмету полковых суеверий и блестяще его выдержать. Поздно вечером отправился он спать в штаб батальона, чрезвычайно довольный добытыми от нас сведениями как по части зайца, так и другими, не менее драгоценными.

Разбудили нас на следующее утро ещё до рассвета по тревоге. Построились с молниеносной быстротой и двинулись вперёд. Вскоре подошёл к нам полковник Юрасов. Тотчас же его засыпали вопросами:

- Что случилось? Куда идём?
- Навстречу Федьке́ идём.
- Какому Федьке́?
- А леший его знает! Должно быть, что-то вроде Соло-

вья–Разбойника. У него, говорят, больше шести тысяч архаровцев. Большой бой будет!

- Ну, нас тоже около трёх тысяч. Расшибём! Главное, за зайцем смотрите, господин полковник.
- Не пропушу подлеца! энергично тряхнул головой Юрасов.

Обстановка постепенно выяснялась: к разбитым нами вчера частям Красной армии подошла колонна Федько, и теперь соединённые силы красных предполагали отнять у нас взятое вчера село. Предстоял встречный бой.

Обгоняя колонну полка, проскакал вперёд инспектирующий артиллерию полковник Миончинский в сопровождении нескольких конных артиллеристов, а немного погодя прошёл на рысях «детский сад» — батарея капитана Ф.А. Изенбека. Между тем, уже рассвело. Перед нами ровная ставропольская степь. Впереди, шагах в пятистах, топографический гребень, не позволяющий видеть, что происходит за ним. По нашу сторону гребня устраивается на позиции батарея Изенбека, а правее — ещё одна, кажется, не марковская. На самом гребне маячат наши конные дозоры. Ни один выстрел не нарушает тишину степи. Нашу колонну разводят поротно. Продолжая сохранять походный порядок, роты идут к гребню на предназначенные им участки.

Полковник Юрасов идёт с нами, разговаривая с ближайшими офицерами. Не доходя полусотни шагов до гребня, садимся на землю и ждём дальнейших приказаний. Становится скучно. А кроме всего, разбирает любопытство: что делается за гребнем? Земля мёрзлая, запушённая сухим снегом, лишь кое-где пролысины. Холодно, но ветра нет.

Вот и первое боевое приказание: «От середины по линии в цепь». Рассыпались и двинулись к гребню, где снова залегли. Знакомимся с лежащей впереди местностью. Прямо перед нами начинается пологий скат с полверсты длиной, а за ним ровная, насколько глаз видит, степь под белым, сверкающим искорками саваном снега. Не то там больше снега, не то расстояние скрывает оголённые места. Красные цепи залегли у самого начала подъёма и видны как на ладони. Расстояние — шагов 800–900. А в двухстах—трёхстах шагах между ними и нами тянется неглубо-

кая канавка, вероятно, межа, разделяющая земельное владение двух собственников. Она единственное укрытие на пути сближения с красными и, следовательно, первый рубеж для наступления. Красные, очевидно, не подозревают, что на всём протяжении гребня цепи марковцев уже готовы к атаке. Нам запрещено болтаться по гребню и даже показываться на нём.

К правому флангу нашей роты подскакивает ещё одна батарея и становится в непосредственной близости с батареей полковника Изенбека. Мне как правофланговому в нашей роте совершенно очевидно, что мы ждём только готовности артиллерии. Вот к только что ставшей на позицию батарее подъезжает полковник Миончинский, и через минуту одно из орудий посылает первую шрапнель в красную цепь. Перелёт. Второй выстрел — и второй перелёт!

— Прапорщик Фишер! Это японская шрапнель, с ней надо смелее!

Третий выстрел покрывает красную цепь. Обмен знаками среди артиллеристов, а по нашей цепи приказание: «Приготовиться!» Ещё минута — и загрохотали частым огнём орудия. Бросились и мы вперёд и залегли на линии облюбованной нами канавки.

Я помню ещё, как мы поднялись и помчались на растерявшегося и смятого противника, но совершенно не помню силы обрушившегося на нас огня. А дальше я помню только зайца, внезапно выскочившего из-под какого-то чахлого кустика и помчавшегося от нас в сторону красных цепей. Дикий, торжествующий вопль вырвался из наших запыхавшихся от бега грудей. Увы, преждевременно!

Ни один большой встречный бой не выигрывается так просто. Домчавшись до красных цепей, заяц описал широкий полукруг и снова нёсся на нас. Успешность боя снова оказалась висящей на волоске и требовала мобилизации всех устрашающих средств, способных заставить зайца переменить направление. Охватившее всех волнение выразилось в полетевших в зайца со всех сторон папахах, фуражках и даже шанцевого инструмента!

Чёрным зловещим вороном взвилась над ошалевшим зайцем и шлёпнулась на землю большая текинская папаха полковника Залёткина, а чуть позже просвистала шан-

цевая лопатка, едва не задев зайца. Роем потревоженных пчёл замелькали сорванные с голов фуражки. За каскадом летевших предметов я потерял из вида зайца и вдруг увидел его мчавшимся прямо на меня. Расстался я с моей драгоценной текинской папахой, но заячью атаку всё же отбил. Обогнув меня, заяц попал на полковника Юрасова. Тот полуприсел, широко расставил руки и завыл таким страшным голосом, что у несчастного зайца не могло остаться и тени сомнения в том, что он имеет дело не иначе как с выходцем с того света. Сделав новый полукруг, он снова помчался к красным, провожаемый усиленным, триумфальным воем. Однако и у «товарищей» имелись вполне определённые сведения относительно оракульских дарований зайца, а потому и у них ему было отказано в гостеприимстве. Заяц снова нёсся на нас и, очевидно, решив умереть от разрыва сердца, держал направление прямо на полковника Юрасова, поспешно стягивавшего с себя бекешку.

Произошедший турнир ярко запечатлелся в моей памяти. Схваченная за воротник бекешка то описывала круги над его головой, то шлёпала полами о землю перед остолбеневшим от ужаса зайцем. От ударов тяжёлой бекешки по изморози и сухому снегу поднималась туча белой пыли, из—за которой слышались одновременно и визг раздавленной кошки, и рёв взбесившегося гиппопотама, и конское ржанье, и улюлюканье загонщиков дичи. И всех этих ужасов, свалившихся на неё одну, не вынесла бедная заячья душа. Выкинув какой—то невиданный пируэт, он бросился назад и проскочил сквозь опрокинутые красные цепи, сопровождаемый вдогонку могучим торжествующим «ура!».

Больше никакого сомнения — бой выигран! Выигран зайцем при самоотверженной помощи полковника Юрасова!

Ещё до вечера вошли мы в Сергеевку²⁴. Вся дорога, до самого села была усеяна трупами красных, среди которых лежал и труп их командующего — Федько²⁵.

Вечером в отведённую нам хату пришёл полковник Юрасов, восторженно встреченный. Его наперебой поздравляли с оказанием помощи зайцу в достижении победы, а он, возбуждённый и взволнованный, махая руками, рассказывал нам о своих переживаниях:

— И вот ведь подлец! Я его — папахой! Я его — шубой! А где он, не вижу! Я орать! Я визжать! Думал уже, пропали мы, господа! Случай, господа, чистый случай! Но хорошо, что вчера предупредили, а то чёрт его знает, чем бы всё это кончилось!

Алёшка

Появление Алёшки в Роте Ставки Главнокомандующего было абсолютно незаконно. Во-первых, эта рота была сформирована из участников 1-го Кубанского похода, похода Дроздовского²⁶ и второпоходников, раненных не менее двух раз. Во-вторых, приобретённый на казённые деньги без соизволения начальства поручиком Бондарем после обильных возлияний в одном из «Кавказских погребков», Алёшка был доставлен в роту в насильственном порядке и вовсе не интересовался своим «беспачпортным» положением, целиком предав себя в руки судьбы. Он и не пытался доказывать свого участия в одном из славных походов, что было бы явно невозможно из-за его малолетства, и не оправдывался нетрезвым состоянием своего временного хозяина за своё появление в роте Ставки.

Однако эти неоспоримые факты не помешали зачислению его в роту, главным образом, благодаря его располагающему виду, вызванной им всеобщей симпатии и готовности принять горячее участие в его судьбе. В конце концов, довольно понятно, что маленький медвежонок не принимал участия в походах и попал в роту не с целью словчить и избежать отправки на фронт, а в силу сложившихся помимо его желания обстоятельств. Одним словом, ни с чьей стороны возражения по поводу его пребывания в роте не встретилось.

Командиром роты был в то время дружно ненавидимый всеми, уж не помню, почему, капитан Жлоба. С этой стороны ожидались всевозможные препятствия, но одним своим видом Алёшка победил чёрствое сердце командира. На очередь встал вопрос о «неправедно» израсходованных казённых суммах. К общему удовлетворению, и он разрешился сам собой — путём доброхотных пожертвований. Итак, Алёшка получил легализацию.

Каждый писатель, приступая к описанию своего героя, прежде всего, обращает внимание на его внешность. Что же касается меня, то, хотя и желая идти общепринятым путём, я всё ж принужден отказаться от этого метода по причине весьма уважительной: отсутствию всякой внешности! Как дать представление о большом буром клубке, из которого высовывались по временам лапы, а иногда вырастал клубочек поменьше, увенчанный чёрным носом и горящими в глубокой шерсти чёрными глазами, дававшими некоторое основание подозревать в нём голову! Несколько дней пребывал Алёшка в этом неописуемом состоянии, а затем начал принимать более отчётливую форму. Теперь он уже пытался ходить по полу, иногда валясь на бок, не будучи в силах снести тяжесть задней части своего тела. С каждым днём его движения становились увереннее, а голова пряталась между лап только по настойчивому требованию Морфея.

Его быстрое развитие находилось в прямой пропорции к проявляемому им аппетиту, что, в свою очередь, вызывало и другую, крайне важную необходимость, которой наши ротные остроумцы воспользовались для выражения своей «симпатии» к ротному командиру. Узрев тревожную сосредоточенность в лице Алёшки, они немедленно вели его в комнату ротного, обычно находившегося в канцелярии, водружали на постель и подвергали усиленному массажу живот до тех пор, пока медвежонок не удовлетворял и собственное желание, и общее стремление массажистов. После двух-трёх показов предписанного ему поведения сметливый Алёшка уже не нарушал положенного этикета. Возмущённый командир начал запирать свою комнату на ключ. Обескураженный Алёшка за невозможностью проникнуть за запертую дверь располагался перед нею, оставлением своих «визитных карточек» доказывая добросовестность выполнения взятых им на себя обязанностей. Первоначальная неосторожная симпатия к Алёшке навеки покинула сердце командира. Из «какая прелесть!» Алёшка стал «эта гадость!». Впрочем, потеря симпатии со стороны начальства с лихвой компенсировалась бурными одобрениями чинов роты, отдавшей Алёшке свою благодарную любовь.

Поутру после поверки целая компания футболистов высыпала на соборную площадь. Алёшка, будучи прирож-

денным футболистом, неизменно сопутствовал им. Однако он решительно отказывался подчиняться правилам игры и как только овладевал мячом, бросался на него животом сверху, после чего между ним и мячом начиналась борьба с переменным счастьем: то мяч перед ним, то Алёшка на нём! Сдавленный тяжестью Алёшкиного тела мяч прыгал в сторону, преследуемый по пятам Алёшкой. Настигнутый им, он снова выскакивал из–под обрушившегося на него медвежонка, а тот неукоснительно продолжал своё преследование, не изменяя приёма единоборства.

Так они и катались по площади, к великому негодованию футболистов, вынужденных из—за потери мяча временно прекратить своё состязание. Всякий раз, как мяч покидал границы поля, он неизменно оказывался под мягким Алёшкиным животом, пока, вырвавшись, снова не появлялся на поле с самой неожиданной стороны в сопровождении своего мохнатого приятеля. Мяч немедленно отбирался, а снабжённый «подтатырой» Алёшка поспешно скрывался за забор из человеческих ног, где и выжидал нового удобного случая.

Одним из самых заядлых футболистов был тогда поручик Дроздовского полка Михаил Гусиков, которого всякий перерыв в игре приводил в бешенство. Однажды, вскормив в своей груди змею мщения, он с силой направил мяч на не подозревавшего злого умысла Алёшку, бросившегося ему навстречу. В результате произошедшего столкновения, перевернувшись раза три через самого себя, Алёшка покатился к ближайшему дереву, на которое и вскарабкался в рекордное (в смысле скорости) время. С этого дня дерево стало его любимым наблюдательным пунктом, а желание принимать активное участие в игре испарилось.

Как-то раз, не помню уже, кто из офицеров подкинул мяч на высоту сука, увенчанного Алёшкиной особой. Пришедший в ужас медвежонок отшатнулся и, потеряв равновесие, свалился на голову поручику Корниловского полка Пашкевичу по прозвищу Чинизелли²⁷. Много тогда пришлось употребить труда, чтобы доказать Пашкевичу, что падение ему на голову Алёшки нельзя рассматривать как покушение на жизнь славного соратника генерала Корнилова, а относиться нужно к этому делу проще. Вынужден-

ный согласиться с приводимыми доводами, Чинизелли всё же ещё долго ругался.

Кроме Алёшки, в Особой роте состоял на довольствии огромный ирландский дог. Этот молосс проводил свободное от еды время в состоянии чего—то похожего на летаргический сон. Лежал он обыкновенно в конце коридора, дожидаясь сигнала на обед. Выслушавши его, дог неторопливо начинал обходить по порядку всю роту, собирая посильную мзду буквально со всех, после чего отправлялся к своей миске, съедал всё её содержимое и снова укладывался в коридоре с полным сознанием исполненного долга и с очевидным твёрдым намерением дожидаться ужина. Мне всегда казалось, что ничто не в силах вывести его из оцепенения или вызвать в нём хоть какое—то желание, кроме как покушать. Доброты и благодушия он был непомерного.

Появление в роте Алёшки всё же вызвало некоторое беспокойство относительно их будущих взаимоотношений. Первая встреча их состоялась в коридоре в обстановке заранее принятых предупредительных мер. Изумлению дога не было границ. Обнюхав со всех сторон Алёшку, попробовав его лапой и облизав ему живот, дог остался доволен своим новым знакомым. Что же касается Алёшки, то больше всего его привлёк длинный хвост дога, которым он и занялся. Через минуту всякие опасения рассеялись, так как их взаимная симпатия бросалась в глаза.

Вскоре влияние Алёшки на дога сказалось со всей силой: на второй же день их знакомства характер пса изменился коренным образом. С раннего утра дог отправлялся на розыски своего приятеля и, обнаружив его присутствие у кого—нибудь на кровати, сковыривал его на пол своей мощной лапой, после чего между ними начиналась неравная борьба, в которой дог придерживался оборонительной тактики, а Алёшка атаковал с невиданным азартом, наскакивая на дога со всех сторон. Результат бывал неизменным: дог поднимал лапу и валил Алёшку на пол, перекатывая его несколько раз подряд и помогая своей лапе носом. Освободившись не без согласия дога, Алёшка снова атаковал и снова падал жертвой могущественного пса. Эта игра не надоедала ни одному, ни другому и продолжалась вплоть до прогулки на соборной площади, а по воз-

вращении с неё возобновлялась. Когда же искатавший собою весь пол медвежонок начинал чувствовать полное истощение сил, то спасался, залезая на чью-нибудь кровать, где и засыпал мгновенно.

Однако отдых его никогда не бывал продолжителен. Через полчаса ярое желание победы снова овладевало им, и тогда он вскачь направлялся в становище дога, на которого и бросался со всего разбега. Полусонное состояние пса не мешало ему снова одерживать победу и катать Алёшку по полу, сколько вздумается. Иногда игра разнообразилась, принимая характер встречного боя. Это случалось обыкновенно утром, когда дог, направляясь на розыски Алёшки, неожиданно встречал его в коридоре. Тогда они мчались навстречу друг другу, и в момент неизбежного столкновения дог перепрыгивал через медвежонка, а тот, не будучи в состоянии затормозить, продолжал нестись вперёд, пока не останавливался, поворачивался и с новой энергией устремлялся на повторявшего свой каверзный приём дога. После этих первых перипетий встречного боя сражение принимало обычный характер с привычным для Алёшки результатом, что, впрочем, нисколько не огорчало покладистого медвежонка и, по-моему, даже ему нравилось.

Уже самый состав роты указывал на присутствие в её рядах чрезвычайно предприимчивых личностей, исхитрявшихся извлечь добавочное удовольствие из единоборства дога и Алёшки. Имея 20–23–й летний возраст и обладая свойственной ему изобретательностью, эти личности вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды.

Утром и вечером рота выстраивалась на поверку в длинном плохо освещённом коридоре, в глубине которого держал свою «штаб-квартиру» дог. Алёшка припрятывался за правым флангом и к моменту выхода командира роты и подачи команды «Смирно!» незаметно впускался между первой и второй шеренгой. Никакого шевеления в строю не могло быть замечено, так как стоявший во второй шеренге третьим или четвёртым поднимал согнутую в колене ногу, а его левый сосед — правую. В образовавшуюся «калитку» в двойном заборе из человеческих ног проникал Алёшка и тотчас же устремлялся в направлении левого фланга, где, по его понятиям, должен был находиться

дог. В свою очередь, пёс впускался с левого фланга и, заметив Алёшку, мчался ему навстречу, неизбежно сталкиваясь с ним где-то в середине стоящей «смирно» роты. В результате их бурной встречи пять-шесть человек вываливались вперёд, нарушая воинский устав. А в образовавшуюся брешь, подгоняемый лапой и носом дога, торжественно вкатывался Алёшка, не желавший принимать во внимание окончательную порчу своих отношений с ротным командиром и глубоко уверенный в том, что поставленный ребром вопрос: «Он или ротный?» — будет разрешён в его пользу. Кстати, вопрос этот не встал на очередь только потому, что вскоре капитан Жлоба был сменён и в командованье ротой вступил капитан Савельев, будущий командир 3-го Марковского полка.

Однажды, вернувшись из города, я принёс для Алёшки баночку меда. Алёшка сразу угадал её содержимое, но встретил неодолимое препятствие в виде ширины своих лап, мешавших ему проникнуть вовнутрь банки. Его попытка перевернуть банку над головой в ожидании самотёка мёда ему в рот успехом не увенчалась. Потерявший терпение Алёшка начал катать её по полу, но твердый мёд не желал вытекать. Желая помочь ему, я хотел было взять банку, но медвежонок пришёл в такую ярость, что я предпочёл предоставить это его собственным усилиям.

После множества бесплодных попыток Алёшка всё же нашел возможность вступить в обладание содержимым банки. Для этого ему пришлось сесть на пол, прислонившись спиной к стене, поднять лапами непрактичную посуду и, запрокинув голову, вылизывать сладкий мёд. За этим занятием он провёл бесконечно много времени. Когда я поднял наконец оставленную им банку, то в ней не было и признака мёда. Она была чиста, как Алёшкина душа.

Приобретя уже известный опыт, через несколько дней он справился со второй банкой гораздо скорее. Однако самым неожиданным последствием вылизанной им третьей банки явилась ежедневная утренняя ревизия моей кровати, где Алёшка устраивал настоящий обыск, о чём свидетельствовали скинутые на пол матрас, одеяло и простыни, а исчезнувшая подушка находилась в самых неожиданных местах: так, например, Алёшка дважды приволакивал её в подарок догу. Беззастенчивость медвежонка прогрес-

сировала с каждым днём и требовала принятия решительных и действенных мер. Банка мёда оказалась вписанной в ежедневный рацион Алёшки и тяжелым бременем легла на мой более чем скромный бюджет. Иного выхода не было. Приобретённая с вечера банка ставилась в угол комнаты, отведённой десяти человекам. Восставши ото сна, Алёшка немедленно отправлялся туда и принимался за свой утренний завтрак, до окончания которого никакие попытки дога вызвать его на единоборство успехом не увенчивались.

В один прекрасный вечер поручик Бондарь вернулся из города с полным удовлетворением от проведённого отпуска и с бутылкой ликёра в кармане. Решивши продлить своё «благостное» состояние, он предложил Алёшке составить компанию. Никогда не пробовавший ликёра Алёшка пришел в восторг от этого божественного нектара и не только не вернул предложенную ему бутылку, но и окрысился на требовавшего возвращения своего имущества поручика Бондаря. Никакие уговоры не помогли, и когда наконец бутылка перешла к своему законному владельцу, то оказалась пуста, как барабан, а Алёшка, спев несколько никому неведомых песен, растянулся на полу и заснул как убитый.

Терзавший его на следующий день «кацен-ямер» был настолько мучителен, что людские сердца не выдержали и дали ему опохмелиться. Действительно, зрелище было потрясающее: Алёшка ходил, держа себя лапами за голову, жалобно и непрестанно стонал или валился головой вниз и тёрся ею о пол. Виновник Алёшкиного состояния чувствовал себя не лучше, приняв на свою голову, кроме заслуженных невыносимых мучений, град сыпавшихся на него упрёков.

Моё пребывание в роте Ставки было весьма кратковременно, так как вскоре я получил письмо от командира полка, вызывавшего меня для принятия командной должности, и вернулся в мой родной полк. Через месяц, тяжело раненный, я очутился в тылу в Таганроге, куда к этому времени перебрался и штаб генерала Деникина. Как только я получил возможность двигаться, то первым делом отправился навестить роту Ставки и моего любимца Алёшку. Алёшки уже не было в роте: его отдали на ка-

кой-то бронепоезд. Мне сообщили, что медведь окончательно спился, и продолжать держать его в роте стало невозможно. Кое-как подлечившись, я опять уехал в полк и вскорости забыл и думать об Алёшке.

Но нам суждено было ещё раз встретиться. Мы были уже в Крыму. Узнав, что мой отец живёт в селе Покровском, что между Феодосией и Керчью, я, воспользовавшись очередным ранением, отправился навестить его. На станции «Семь колодезей», где я покинул вагон, стоял наш бронепоезд. На площадке одного из его вагонов был одетый в широкую меховую шубу человек высокого роста и плотного телосложения, с остервенением крутивший тормозное колесо. Его одеяние явно не соответствовало жаркому майскому дню и невольно привлекло моё внимание. К моему великому удивлению, я разглядел, что это был большой бурый медведь. «Алёшка!» — вырвалось у меня невольно.

Алёшка бросил крутить свое колесо, вывалился на насыпь и бросился ко мне со всех четырёх ног. При виде скачущего на меня медведя я до того растерялся, что не сделал ни малейшей попытки спастись хотя бы бегством.

Алёшка узнал меня и выразил свой восторг тем, что начал обращаться со мною так, как некогда обращался с ним дог, и если бы не прибежавшие с бронепоезда люди, то мне пришлось бы вопреки собственному желанию искатать собой всё поле, будучи принуждаемым к этому времяпрепровождению неумеренным энтузиазмом Алёшки!

Генерал Канцеров

Известие о назначении генерала Канцерова на должность начальника Марковской дивизии в нашем 2-м полку было встречено с большой осторожностью. Горький опыт назначения из Ставки Главнокомандующего мало располагал старых марковцев к неумеренному энтузиазму, а потому восторженные отзывы о нём офицеров, служивших под его командой на фронте Великой войны, не могли рассеять общее выжидательное отношение к личности генерала Канцерова. Командиры батальонов, рот и начальники команд сошлись на хорошо известной добровольческой формуле: приедет — увидим, повоюет — оценим.

Визит генерала не заставил себя ждать. Весь старший командирский состав полка был собран в просторной казачьей хате для представления новому начдиву. Полковой адъютант капитан Рексин отправился доложить командиру полка генералу И.П. Докукину, незамедлившему явиться вместе с генералом Канцеровым. Быстро прошла обычная процедура персонального представления. Каждому из нас генерал отпускал какой-либо комплимент, ясно указывающий, что новый начдив уже имеет кое-какие сведения обо всех. Пережав все руки и истощив весь запас комплиментов, генерал Канцеров предложил всем сесть и обратился к нам с речью в странном, как будто извиняющемся тоне: «Господа офицеры! В вашей прославленной среде я человек новый. Поэтому не взыщите, если я обращаюсь к вам с целью рассеять возникающие у меня недоумения. Наскоро ознакомившись с канцелярской частью, я, к ужасу моему, определил, что многое из того, что творится у вас, мне абсолютно непонятно!» И генерал беспомощно развёл руками. С минуту дав нам возможность упиться этим жестом отчаяния, генерал неожиданно охватил свою голову руками и, постукивая пальцем по макушке, горестно воскликнул: «И вот ведь голова! 35 лет провёл я на военной службе, а всё ещё не всегда и не всё понимаю! Господа, помогите мне!» — трагически простёр он вперёд руки.

На лицах собравшихся офицеров можно прочесть недоумение и растерянность. Ёрзает на своем стуле командир 1-го батальона Я.Д. Борцов, а его помощник И.П. Селецкий больно давит мне на ногу, вероятно, пытаясь изменить выражение моего лица, которое он считает в данной обстановке неуместным. Начальник учебной команды капитан Володя Царёв (по прозвищу Облом) мрачно уставился в пол и не шевелится, считая себя бессильным оказать помощь начдиву. Но тут-то и зарыта собака: испрашиваемая Канцеровым помощь зависит именно от Володи. «Капитан Царёв!» — обращается генерал к подпрыгнувшему от неожиданности Володе. Высоко подняв над головою какую-то книжонку и поворачиваясь во все стороны, Канцеров продолжает: «Объясните мне, пожалуйста, какие чины существуют в Вашей учебной команде? Что за чин «дегенерат»? Представьте, совсем не помню!»

Увы! Трагические восклицания и жесты начдива внезапно принимают для меня несколько тревожное значение. Но пока знаем об этом только я, Володя и Канцеров, все же остальные продолжают считать нового начальника душевнобольным.

Смущённый генеральским вопросом капитан Царёв молчит, переминаясь с ноги на ногу. А дело просто: несколько дней тому назад было приказание назначить двух лучших солдат в учебную команду от каждой роты. Получив это приказание, я после совещания с моим фельдфебелем отправил Володе двух полукалек: одного хромого, а другого с искривлённым позвоночником, возвращённых мне на следующий день с надписью в рассыльной книге: «Двух присланных дегенератов возвращаю. Кап. Царёв». Потерпев фиаско в моём желании избавиться от ненужного мне элемента, в той же книге я поместил и мою разочарованную сентенцию: «Двух возвращённых дегенератов с душевным прискорбием принял обратно. Кап. Р.»

Теперь эта рассыльная книга, поднятая на всеобщее обозрение над головой генерала Канцерова, и вызвала поразительное начало генеральской речи. Не получив ответа от Царёва, Канцеров возжаждал объяснения от меня. Я указал на то, что уход из строя солдат, да ещё двух лучших, ослабляет и без того малочисленную роту и в нашем положении вообще невозможен. Моё объяснение вызвало возражение Володи, быстро перешедшее в спор, прекращённый генералом вовсе не в духе отеческого выговора.

Из этой первой встречи остро запомнился мне и другой эпизод, героями которого оказались уже все без исключения. Как тогда же выяснилось, генерал Канцеров успел уже ознакомиться и с хозяйственной частью полка, которой остался весьма недоволен. Начав с подполковника Борцова, он задал ему совершенно неожиданный вопрос: «Что должно находиться в передке походной кухни?» С 1914 года бессменно находившийся в строю, множество раз раненный, храбрейший и талантливейший офицер нашего полка, Я.Д. Борцов давным–давно позабыл нормальную жизнь тыловой части, а посему ответил уклончиво, но правильно:

- Прежде всего, надо иметь передок.
- А как же Вы возите кухню? изумился Канцеров и получил исчерпывающий ответ:

- В оглоблях!
- Ну, а когда у Вас будет передок, что должно в нём находиться? не отставал начдив.

Этот каверзный вопрос, задававшийся всем по порядку, полного освещения не получил, хотя на двух вещах все сошлись безусловно: неприкосновенный запас дров и полотенце. Что же касается всего остального, то тут мнения разделились.

Разошлись мы тогда поражённые знаниями Канцерова и нелепостью задаваемых им вопросов. Однако общее впечатление было в его пользу. Вскоре подоспели и свежие новости, окончательно убедившие нас в оригинальности нашего начдива.

Пришли мы тогда в станицу Ольгинскую, ту самую Ольгинскую, где два года тому назад зародился 1-й Офицерский полк. Я получил боевой участок на Северной окраине станицы: вправо от ведущей на Аксай дамбы и до конца линии нашей обороны. Влево от дамбы — боевой участок поручика Елина. Тотчас же по прибытии нам было приказано приступить к постройке снеговых окопов и расквартировать роты с указанием на дверях числа людей, занимающих ту или иную хату. Приказание исходило от генерала Канцерова, сообщавшего о своём намерении лично убедиться в исполнении отданного им приказания. В условиях гражданской войны возведение окопов, да ещё снеговых, являлось для нас новостью. Не менее удивительным были и надписи мелом на воротах, облегчавшие противнику в случае нашего отступления точное определение состава полка.

Но делать нечего! Канцеров явится проверять, и приказание должно быть исполнено. Хорошо помню: стояла оттепель, и всё кругом было покрыто мокрым тяжёлым снегом. Скатывать из него шары не представляло никакой трудности. Однако, прикаченные на место и взгромождённые друг на друга, они под тяжестью заключённой в них воды давились и расползались чуть ли не в кашу, грозя обратить и без того мокрую почву в сплошное болото. Пришлось трамбовать и лепить руками уставной профиль. Мне уже представлялась моя завтрашняя встреча с начдивом, когда на его вопрос: «А где же Ваши окопы?» — мне придётся указать на грандиозную лужу и скромно сказать: «А вот!»

Претвориться в жизнь этой рождённой озлобленным воображением сцене всё же не удалось, так как оттепель прекратилась, и погода пошла на всё более и более крепчающий мороз, вскоре обративший нашу постройку в монолитную ледяную массу, непроницаемую не только для пуль, но и для трёхдюймовых гранат.

Справившись с этим первым заданием, я приказал унтер-офицеру Сантурину сделать на дверях хат, занятых моей ротой, требуемые генералом Канцеровым надписи, но только с прибавкой ничтожной единицы впереди действительного числа квартирующих в них солдат. В первом походе так приказывал генерал Марков. Эта «военная хитрость» сразу довела состав моей роты до внушительной цифры в 180 с лишним человек, то есть увеличила состав моей роты более чем на две трети её действительного состава. «Разумейте языцы и покоряйтеся»²⁸!

За ночь мороз усилился, а к утру разразилась сильнейшая снежная буря, нанёсшая целые горы снега и всё продолжавшая бушевать. По моим соображениям, обещанный Канцеровым визит ни в коем случае состояться не мог, но около 3-х часов пополудни бесстрашный начдив всё же появился на моём участке и сразу отправился проверять мою полевую заставу. Пришлось и мне сопутствовать. Ёжась от холодного ветра и от проникавшего за воротник шинели снега, проклиная любопытство начальства, плёлся я за ним по открытой степи, мысленно моля Бога надоумить «товарищей» рассеять нашу многочисленную свиту несколькими разрывами шрапнели. Увы! Молитва моя не была услышана: красная артиллерия решительно отказывалась бомбардировать густую вуаль снежной бури. Триста шагов, отделявших нас от заставы, пришлось уныло следовать за генералом. Расположением заставы Канцеров остался доволен, а насыпанный высокий снежный вал, долженствовавший защищать людей от леденящего ветра, но принятый начдивом за окоп, заслужил его одобрение.

Добросовестно промёрзнув на заставе, вернулись мы на линию моих окопов, осмотр которых тянулся неимоверно долго, и я уже начал жалеть и раскаиваться в их постройке. Но наконец этот осмотр тоже был закончен, и, следова-

тельно, должна была кончиться и пытка холодом. Не тут-то было! Канцеров отправился проверять надписи на дверях и воротах хат. Эту процедуру он закончил довольно быстро, видимо, торопясь на соседний участок поручика Елина до наступления ночи. За всё время проверки надписей начдив не обронил ни единого слова, но, проверив последнюю, вдруг обернулся ко мне и, ухватив меня за пуговицу шинели и весело подмигнув, сказал:

- Капитан Р., а ведь за Вами имеется должок!
- То есть? вытаращил я глаза.

Слегка толкнув меня правой рукой, а левой продолжая держать меня за пуговицу, сильно откинувшись назад, Канцеров продолжал:

— Не далее чем два дня назад Вы утверждали, что выбытие двух солдат ослабит боеспособность Вашей роты. А что же я вижу? — ещё более откинув голову, продолжал Канцеров. — Да у Вас самая большая рота! Да и не только в полку, а во всей дивизии!

Моё объяснение о поразительной способности единицы восполнить недостающее число солдат в роте и таким путём устрашить могущего занять станицу противника вызвало полное недоумение Канцерова:

- Станица, обороняемая офицерской дивизией, не может быть взята противником!
- Однако такие эпизоды уже случались, опираясь на свой богатый опыт, возразил я.
 - Таких эпизодов больше не будет!

Приказав стереть все единицы, начдив отправился на левый боевой участок, сопровождаемый своей свитой.

Неистовый снежный буран продолжался, и тьма наступившего вечера окутала степь, когда генерал Канцеров появился в расположении 7-ой роты. Елин, хотя и предупреждённый заранее адъютантом, всё же считал, что, ввиду позднего часа и «сногсшибательной» погоды, начдив отложит свой визит на завтра, а потому и не беспокоился. Серьёзные основания для беспокойства, однако, имелись: к возведению окопов Елин не приступал, считая их абсолютно бесполезными. И вот он оказался стоящим перед генералом Канцеровым и... перед проблемой: как быть?

Казачья пословица говорит: «Нэ тыв казак, ще поборов, а тый ще выкрутывся!» Елин и решился стать настоящим

казаком: на приказание Канцерова показать свои окопы он, не выразив ни малейшего смущения, повёл за собой генерала в открытую степь. Погода неистовствовала, снежный буран обратился в редкую по силе завируху. Казалось, что порывы ветра налетают со всех сторон, разбрасывая и крутя россыпи мелкого сухого снега. Ни зги не видно!

«Представь себе — рассказывал мне на следующий день Елин, — идут за мной начдив, дядя Ваня (командир полка И.П. Докукин), Костя (адъютант К.А. Рексин), ещё кто-то. А куда их вести, мне безразлично: окопов у меня нигде нет. Водил я их, водил! Минут двадцать! Всё никак к «окопам» дороги найти не могу. Думал, прозябнут и домой воротятся. Ан нет! Прилип ко мне Канцеров, как банный лист, и не отстаёт! Ещё походили и опять ничего не нашли! «Ваше Превосходительство, — говорю, — как же тут снеговые окопы найти, когда и собственной руки не видно?» Остановился Канцеров, одной рукой за пуговицу шинели меня держит, а другую на плечо мне положил и говорит грустным-грустным голосом: «Припомнилась мне одна печальная история. Был у меня один знакомый молодой человек, хор-о-о-ший молодой человек и, представьте, вдруг застрелился! А Вы знаете почему?» — «Никак нет», — отвечаю. «А потому, что ему надоело каждый вечер снимать и каждое утро надевать штаны!» Из дальнейших тирад выяснилось, что нежелание каждое утро надевать штаны равняется нежеланию строить окопы, а то и другое неизбежно ведёт к самоубийству».

Приказав генералу Докукину сместить поручика Елина с командования ротой, начдив вернулся к себе. Впоследствии, когда я напомнил дяде Ване об этом происшествии, он, улыбаясь, ответил: «Да! Для этого надо было быть Елиным!»

Ночью кончился снежный буран. Наступившее ясное морозное утро началось с попытки красных атаковать станицу Ольгинскую от Аксая. После боя, понеся большие потери, атаковавшие части отхлынули обратно за Дон. Генерал Канцеров приехал на мой участок, осмотрел поле боя и поехал вперёд — туда, где лежали скошенные пулемётным огнем цепи «товарищей».

Возвращаясь на линию моих окопов, начдив встретил солдата, посланного мной с приказанием на передовую

заставу. Солдат не обратил ни малейшего внимания на ехавшего верхом генерала, да и вряд ли угадал в нём начальника, а потому спокойно продолжал свой путь и не отдал чести.

- Стой, остановил его Канцеров. Почему не становишься во фронт? Ты видишь, кто я?
 - Никак нет, ответил растерянно солдат.
- Я генерал Канцеров, командир дивизии. Понял? Ну, становись во фронт!

Перепуганный солдат неуклюже вытянулся.

— Не так, — слезая с коня, сказал Канцеров. — Садись на коня, проезжай мимо меня и кричи: «Здорово, Канцеров!»

Солдат замялся, но приказание исполнил. Раз десять по желанию генерала проезжал он мимо него с приветственным возгласом, на который, браво становясь во фронт, Канцеров громко отвечал: «Здравия желаю, Ваше-ство!»

— Ну, а теперь отдавай мне коня. Мой черёд ехать, а твой — становиться во фронт!

Лихо ставший во фронт солдат при первом же проезде мимо него генерала заслужил его полное одобрение. Спустя некоторое время, на мой вопрос посыльному, что это за происшествие, наблюдавшееся мною издалека, солдат описал мне эту сцену и, улыбаясь, закончил: «Ох, и бедовый!»

16-е февраля, трагический для Марковской дивизии день, начался для меня тяжёлым ранением осколком бризантной гранаты в колено с раздроблением коленной чашечки. Боль была чудовищная! Но передать командование моим участком было некому. Поднятый и усаженный на патронную двуколку, я продолжал командовать в продолжение всей фронтовой атаки красных, после отбития которой был отвезён в лазарет, находившийся на южной окраине станицы. И тут пришлось мне увидеть собственными глазами всю безнадёжность нашего положения, о котором до сих пор я не имел никакого представления.

Здесь в последний раз видел я генерала Канцерова, отдававшего приказание командиру конной сотни поручику Гетманскому атаковать обходящую колонну красной кавалерии.

— Ваше-ство, — доложил обескураженный Гетманский, — кони и люди вымотаны окончательно! Лошадей нельзя поднять даже на рысь!

Хорошо помню фигуру генерала Канцерова и принятую им позу. Выпятив свой и без того толстый живот, упёршись обеими руками в бока, мелко семеня ногами и будто пританцовывая, он вдруг заговорил речитативом: «Кузькина мать собиралась помирать. Помереть не померла, только время провела. Налево кру-гом! В атаку марш!»

Конца этой сцены я уже не видел. Поняв, что в лазарете мне делать больше нечего, я приказал возвращаться в свою роту, надеясь при удаче вывести её из западни и спасти хотя бы часть её состава и пулеметы.

Что случилось в дальнейшем с генералом Канцеровым, я не знаю. Был ли он убит или смещён с командования? Во всяком случае, когда мне посчастливилось вывести из станицы жалкие остатки моей роты и кое-каких присоединившихся ко мне отдельных людей на лежавшие в двух верстах холмы, там я не видел Канцерова²⁹.

По рассказу полковника М.Г. Степашина, генерал Канцеров вышел на войну 1914 года в должности командира Бородинского полка и прославился разгромом венгерской конной дивизии, за что получил орден Св. Георгия III степени в чине полковника. Генерал П.Н. Краснов описал этот бой в своём романе «От двуглавого орла к красному знамени». Насколько это верно, не знаю.

Болгарская эпопея

Коммунистическое восстание в Болгарии³⁰ застало меня в Белградчике, где в то время стоял Марковский полк. От генерала М.Н. Пешни, тогдашнего командира полка, я получил приказание явиться в распоряжение начальника 5-го пограничного участка болгарского капитана Монева. В моём подчинении находились два тяжёлых пулемёта-Максима, два легких Льюиса и двадцать человек команды — все марковцы.

После моего представления капитану Моневу и получения от него инструкций привёл я свою команду в болгарское офицерское собрание, где нам было выдано болгарское обмундирование и походный рацион. Винтовки у

нас были свои. Ими не были вооружены одни только номера 1 и 2 при тяжёлых пулемётах и номер 1 при лёгких.

В тот же день выступили мы из Белградчика. Весь отряд капитана Монева состоял, не считая нас, из 70–80-ти человек. Отряд этот, по правде говоря, возбудил во мне, кроме сомнения, и некоторое опасение. Причиной моего опасения явилась речь капитана Монева перед строем, готовым к выступлению.

«С нами, — сказал он, — идут русские пулемётчики («Зачем же нас переодели?» — подумалось мне). — Все они много раз переранены, но это ничего не значит!» (Сперва я ошибочно перевёл, что мы ничего не стоим.) «Но как они стреляют! — продолжал Монев (Явная фантазия, ибо до сих пор мы скрывали наличие у нас пулемётов и никогда стрельбы не производили). — И всякий из вас, кто подумает перебежать, сразу будет убит несколькими пулями!» Ободрённый этим предупреждением, отряд двинулся в путь.

Нашей ближайшей задачей являлось взятие села Чипоровцы, по сведениям капитана Монева, занятого коммунистами. С самого начала движения нашей походной колонны построение её показалось мне весьма странным: мои пулемёты оказались в середине колонны, а впереди и позади шествовали болгарские воины, не внушавшие мне доверия. На первом же привале я указал Моневу на опасность такого построения. Монев не сразу согласился со мной, указывая, что дальнейший путь будет проходить по шоссе, проложенному вдоль подножья скалистой горы, заросшей кустами и лесом, откуда всегда можно ожидать нападения, потому что освещение местности с этой стороны невозможно, и он боится, что пулемёты могут быть отрезаны от остального отряда. Всё же мне удалось настоять на своём и перевести мою команду в хвост колонны.

Описанный капитаном Моневым дальнейший путь действительно оказался крайне опасным: слева — громада горы, под которой мы проходили, справа — совершенно открытая плоская местность, впереди — вьющаяся под скалами дорога. Мои четыре подводы пришлось развести на расстояние пятидесяти шагов друг от друга и усадить моих двух «льюистов» на последние из них. Подводы с

тяжёлыми пулемётами забросали сверху ветками и прикрыли каким-то скарбом, придав им вид обозных.

Целых два перехода прошли мы в таком построении и при большом нервном напряжении. Наконец, дорога вильнула в сторону и побежала по открытой местности. Прискакавший всадник от шедшего впереди дозора из трёх коней привёз донесение, что впереди замечены конные части противника. На вопрос капитана Монева о силе коммунистической кавалерии, прозвучал точный ответ: «Само два!» В дальнейшем выяснилось, что от боя «неприятельская конница» уклонилась и ускакала на село Чипоровцы.

«Чипоровцы мы, вероятно, займём без боя, — сказал мне Монев. — Это село зажиточное и, за исключением нескольких человек, вполне лояльное. Ни кмет (сельский староста), ни жители не согласятся оказать нам сопротивление и рисковать репрессиями».

Так оно и вышло. В Чипоровцы мы вступили хоть и с предосторожностями, но без выстрела. Встретило нас несколько стариков, державших в руках, покрытых вышитыми полотенцами, блюда с насыпанным на них зерном и стеклянными «урнами» с холодной водой. Вероятно, этот обычай соответствует нашему «хлебу-соли». На отведённых нам квартирах приняли нас с распростёртыми объятиями и тотчас принялись «черпить» (угощать) более чем неумеренно, но поглядывали со странным любопытством.

Время приближалось к вечеру. Длинные тени потянулись от домов, кустов и деревьев. Огромное солнце взобралось на самую верхушку горы и начало медленно погружаться в окаймлявший её лес, когда я отправился к капитану Моневу за получением инструкций и выяснением обстановки.

Начальник отряда расположился в доме кмета. Когда я вошёл, то застал его сидящим на полу, покрытом циновками, за низеньким круглым столом в обществе трёх офицеров его отряда и трёх или четырёх стариков. Мне тотчас же отвели место: «Заповедуйте!» (Милости просим!) Тут же за столом (масичкой) мне было сказано, что весь следующий день отряд проведёт в Чипоровцах, а через день с раннего утра выступит на деревню Чупрене, где, по всей вероятности, нам предстоит бой. Мои пулемёты должны быть

перегружены на вьюки, которые я получу завтра днём. На мой вопрос, кто несёт охрану села, один из стариков успо-коительно ответил: «Момче» (парнишки, подростки). Общая схема этой своеобразной охраны заключалась в том, что на всех трёх дорогах, ведущих в Чипоровцы, в полуверсте от села должны быть поставлены «заставы» из мальчишек, которым были выданы свистки того типа, что обычно продаются на сельских ярмарках. Численность таких застав зависела от количества желающих принять участие в «охранении» отряда. «Добровольцев» этих оказалось множество — вероятно, все сельские подростки — а свистков менее десятка.

Задержался в моей памяти и спор, возникший между капитаном Моневым и кметом. Монев собирался спалить несколько домов, принадлежавших заведомым коммунистам, бежавшим в Чупрене перед нашим приходом, а кмет протестовал, указывая на опасность общего пожара села, так как никаких средств для тушения под рукой не имелось: ручная помпа «строшилась» (сломалась), а кишка продырявилась. Монев, убеждённый силой «столь явственных причин», от своего нелепого намерения отказался, но потребовал ареста бежавших, как только они появятся, и задержания их до его возвращения. На этом и порешили. Поразило меня и то, что кмет был прекрасно осведомлён, что пулемётная команда состоит из русских. Наш маскарад становился всё более необъяснимым.

При выходе от кмета увидел я целую толпу момче, в основном мальчишек (но были и девчушки), жаждавших идти в заставу. Видимо, им это представлялось заманчивой игрой. Вернувшись в свою команду, я тотчас же убедился, что и для наших хозяев наша национальность не являлась секретом: двое из офицеров моей команды, оказалось, работали в этом селе как раз у того болгарина, в чьём доме мы теперь квартировали, и были, конечно, узнаны. Впрочем, это обстоятельство меня уже нисколько не интересовало, но вопрос о нашем «охранении» сельскими подростками рассматривался мною как нечто абсолютно недопустимое. Не будучи в состоянии согласиться с подобного рода «охранением», после короткого «военного совета» я снова отправился к начальнику отряда и, отвергнув все его заверения, получил согласие на выставление заставы от моей коман-

ды с ироническим добавлением: «Если вы от страха спать не можете, то делайте, как хотите!» Эту ночь, проведённую мною в заставе на дороге, ведущей в Чупрене, я отношу к самым комическим воспоминаниям моей жизни.

Едва три офицера и я (с одним лёгким пулемётом) вышли из дома, как нас сразу окружила толпа мальчишек и девчонок, пожелавших идти вместе с нами. Избавиться от них не было никакой возможности. Так мы и двинулись всей многоголовой кучей. В сильно сгустившихся сумерках отошли с полверсты от села и остановились у густых кустов, где и раскинули наш «табор». Именно «табор», так как в продолжение всего пути, как и теперь на месте, щебет детских голосов не прекращался, сопровождаясь иногда и воплями.

Как только уселись мы на землю, подскочил ко мне весьма предприимчивый мальчонка лет десяти, уведомивший меня о своём намерении пойти вперёд и «доглядеть, каково правят коммунистите». На моё категорическое запрещение этот добровольный разведчик не обратил никакого внимания, нырнул в темноту и исчез. Немного времени спустя предстала передо мною восьмилетняя девица, залитая горькими слезами и усиленно хлюпавшая носом. Из её прерываемого рыданиями объяснения я понял, что причиной такого безысходного горя является то обстоятельство, что она лишена какого-либо вооружения, а потому чувствует себя обойдённой из-за невозможности принять участие в общих «боевых действиях». Выходом из создавшегося положения она считала конфискацию свистка у её брата и передачу ей. Однако исполнение её требования грозило большим и шумным скандалом, а потому я предложил ей занять ответственную и почётную должность сестры милосердия нашего становища. Сперва она очень заинтересовалась своей новой должностью, но вскоре в ней разочаровалась, главным образом, потому что я не имел возможности снабдить её каким-либо внешним знаком отличия, свидетельствовавшим о её высоком назначении, и снова потребовала свисток.

По существу, изготовление свистка не представляет собой никакой технической трудности, в чём я убедился во время моего пребывания под Ригой, где мы делали их сотнями. Выломанная из винтовочного патрона пуля и

высыпанный из него порох делают медную гильзу прекрасной внешней оболочкой. Маленькое окошечко, вырезанное на высоте полутора сантиметров внизу гильзы, и располовиненное какой–либо перегородкой верхнее отверстие (где раньше сидела пуля) заканчивают производство свистка. А если ещё опустить туда горошинку, буковый орешек или кусочек жёлудя, то получается звук, напоминающий соловьиную трель: раскатистый и даже с прищёлкиваньем.

Изготовлением такого свистка я и занялся. Таинственность моих действий и данная мною гарантия, что изо всего этого получится свисток, возбудили общее любопытство момчей. Рёв отказавшейся быть сестрой милосердия девицы прекратился и заменился сосредоточенным сопением собравшейся вокруг меня детворы. Вынутая из патрона пуля чуть было не послужила причиной кулачных боёв, а высыпанный из гильзы порох подлил маслица в огонь всеобщих вожделений. Одним словом, моё намерение восстановить тишину закончилось полным провалом: вместо слёзных воплей одной девицы послышались многие голоса претендентов на пулю и порох. Но настоящая гроза разразилась, как только я закончил свисток и передал его обиженной девице. Первым ударом грома был оглушительный свист, исторгнутый ею из этого инструмента! Затем посыпался град просьб на порох, пули и свистки. Так погибла целая обойма боевых патронов! Относительная тишина восстановилась только после моей угрозы отобрать все сделанные свистки и разогнать «заставу».

Во время «производства вооружения» предстал передо мною добровольный «разведчик», сообщивший, что некий «бай Божо» стоит с пушкой (ружьём!) у моста через (название реки не помню), а «другие пият винце». Но его сообщение меня мало интересовало, так как я уже прекрасно понял, что задача моей «заставы» заключается не в охране отряда, а в стремлении избежать ложной тревоги, вызванной непомерным усердием охранителей.

Не могу сделать никакого сравнения нашего утреннего возвращения в Чипоровцы с чем бы то ни было. Ни одна весёлая свадьба каких-нибудь команчей не могла бы конкурировать с тем восторженным настроением, которое

охватило моё «воинство», получившее полную возможность яростно испробовать всю силу своего звонкого «вооружения».

Через полчаса я был вызван к Моневу. За ночь обстановка изменилась, а следовательно, отпали и вчерашние инструкции. Новая задача заключалась в движении на то же Чупрене, но не по горным тропинкам, а по дороге. Отменялась и днёвка. Пулемёты должны были оставаться на подводах, а вьючные лошади следовать за нами. Через час мы должны были выступить по той дороге, где ночью стоял мой табор. Это распоряжение подействовало на меня чрезвычайно успокоительно, так как, говоря по правде, ни я, ни остальные пулемётчики не имели ни малейшего представления о навьючивании пулемётов.

Отряд выступил. Версты через полторы подошли мы к реке, где ночью (по донесению добровольного разведчика) стоял «бай Божо с пушкой». Река, перед которой нам пришлось остановиться, не могла быть названа рекой: это был полноводный горный поток, стеснённый отвесными каменными стенами своего русла и мчащийся с невероятной скоростью. Ни брызг, ни пены! Прозрачными водяными сине—зелёными ступенями неслись волны потока, и только небольшие пузыри появлялись на их поверхности. Но мост отсутствовал! Я не заметил даже признаков его. «Строшили, — сказал Монев, — ште направим».

Вправо рядом с дорогой стояла мельница. Возле неё были сложены брёвна, которые и послужили нам для постройки моста. Всё глубокое русло потока в ширину не превышало трёх саженей. Из штанги брёвен один из болгарских унтеров извлёк самое длинное бревно. Его поставили на попа и опустили на противоположный берег. За первым последовали второе и третье. Перекинутые три бревна сколотили досками, оторванными от здания мельницы. Не более чем через час соорудили мост, способный выдержать даже 93-тонный современный танк. По мосту отряд перешёл на другую сторону.

Однако ширина нашего моста дозволяла переезд через него наших пулемётных подвод только при условии движения по абсолютно прямой линии. Мою просьбу подложить с двух сторон хотя бы ещё по одному бревну капитан Монев категорически отклонил, сказав мне: «Глядайте!»

Наши возницы, отпустив вожжи, смело проехали мост, доверившись лошадям, не свильнувшим в сторону ни на шаг. Честно говоря, я был поражён: четверть вершка в сторону — и конец!

Перед нами снова грунтовая дорога. К полудню дошли мы до какого-то шоссе, двинулись по нему и не более чем через час вошли в какое-то селение. Из одного дома вышел старый болгарин. Монев спросил его:

- Где коммунисты?
- Они здесь, за рекой, ответил старик, но берегитесь, у них есть пулемёты.
 - А ты видел их пулемёты? спросил Монев.
 - Нет, я не видел, но они говорили, что есть.
- Врут, сказал Монев, пулемёт не спрячешь в карман!

Мы двинулись вперёд. Минут через пять шоссе круто вильнуло влево, и голова колонны оказалась перед мостом. Едва она взошла на мост, её встретил пулемётный огонь. Прицел красного пулемёта был замечательно правилен, но позиция самого пулемёта была выбрана неискусно, так как каменные борта моста исключали возможность продольного огня, а пулемёт находился как раз там, откуда другой огонь был невозможен.

В мгновение ока весь отряд оказался в реке. В широком русле немноговодной речки за каждым валуном сидело по болгарину, низко склонившему голову, но, неизвестно почему, поднявшему зад. Стоя рядом с Моневым, я не мог удержаться от смеха, когда он подал команду: «Дупами на десно равнись!» (Попами направо равняйся!)

- Вы можете определить, где стоит их пулемёт? спросил меня Монев.
- Определить линию, на которой стоит пулемёт, просто! Но выяснить на этой линии точку его нахождения гораздо сложнее. Нужно, чтобы он снова «заговорил».

Монев передал мне свой великолепный 18-кратный бинокль системы Цейс-Икон. Будто на ладони предстала передо мной вся впереди лежащая местность. Но где замолкший за отсутствием целей пулемёт? Я не нашёл его.

Мои пулемётчики тем временем сгрузили наши два тяжёлых пулемета и подкатили их к мосту. Первым номером на первом Максиме был у меня унтер-офицер Орани-

енбаумской стрелковой школы (его фамилию, к стыду моему, я забыл). Как только он подошёл ко мне, я передал ему бинокль. Он довольно долго рассматривал в него раскинувшуюся перед ним панораму.

— Так не найдёшь, — сказал он мне, — надо, чтоб он начал стрелять.

Его слова я перевёл капитану Моневу.

— Ништо! Направим! — ответил он и предложил мне сделать «расходку» (прогулку), как раз по другую сторону моста, куда ударили первые пули и, не дожидаясь моего ответа, направился к этому опасному месту.

Я икнул и последовал за ним. Наша провокация увенчалась полным успехом: красный пулемёт застрочил. Я думаю, что спасло нас только чудо. Не искушая более Провидение, мы оба бросились к противоположной стенке моста.

- Есть! донёсся до меня крик моего унтера.
- Намерих! перевёл я Моневу. (Найден!)

Минут десять ушло на выбор удобной позиции для обстрела вражеского пулемёта и установки на ней нашего. Но вот мой пулемётчик открыл огонь. Короткая очередь и сразу за ней пол-ленты. Ответа не последовало: красный пулемёт молчал. Немного пообождали — ни ответа, ни привета! «Разбежались, — предположил мой унтер, — а пулемёт, кажись, стоит!» И, посмотрев в бинокль, протянутый ему Моневым, добавил: «А только он сбит!» Тотчас же я получил согласие капитана Монева проверить наше предположение и, взяв пятерых человек и один лёгкий пулемёт, двинулся вперед, перебравшись через русло реки.

Пока мы продвигались огородами, заслонёнными живой изгородью, ни один выстрел не послышался со стороны противника, но как только мы вышли на открытую местность, с лежащей впереди в версте горы прозвучало полтора десятка выстрелов. Свиста пуль я не слышал: или недолёт, или они были предназначены не для нас. Шли мы слегка левее линии огня нашего тяжёлого пулемёта, остававшегося на своей позиции и в любую минуту готового поддержать нас в случае опасности. Без всякого сопротивления достигли мы позиции красного пулемёта. И вот что я увидел. Труп пулемётчика лежал на станке пулемёта ли-

цом вниз, двое тяжело раненых валялись неподалёку. Один из них, видимо, собирался доползти до камня, находившегося немного позади, но, обессилев, лежал неподвижно. Я уже собирался послать донесение капитану Моневу, когда вдруг увидел, что он скачет ко мне.

Вскорости он прискакал и первым делом повернул убитого лицом вверх. «Дончев!» — ткнув сапогом в труп, торжественно объявил Монев. Но кем был этот Дончев, в то время мне не было известно. Затем я получил приказание оттащить взятый нами пулемёт на дорогу.

Пулемёт, который тащили теперь мои пулемётчики, был такой же пулемёт Максима, как и наши, поставленный на станок Соколовского. Прикатили его на дорогу и начали рассматривать. В двух местах кожух его был пробит нашими пулями, след пули имелся и на «щеке». Нас особенно заинтересовала надпись на казённой части: «Императорский Тульский ружейный завод». Слово «императорский» было перечёркнуто глубоко врезанной линией. Кроме взятого нами пулемёта, на месте оставалось ещё и несколько ящиков с пулемётными лентами, за которыми Монев приказал мне прислать солдат его отряда. Запомнилась мне и брошенная там великолепная новенькая винтовка Манлихера, на которую очень зарились мои глаза.

Отряд Монева уже двигался по дороге в построении походной колонны. Мои подводы и вьючные лошади следовали сзади. Когда колонна подошла к нам, я передал болгарскому офицеру приказание Монева, всё ещё остававшегося на уничтоженной нами позиции красного пулемёта, о присылке нескольких человек за пулемётными лентами. Едва назначенные солдаты отделились от колонны и направились к указанному им месту, как оттуда раздались два приглушённых выстрела. Охватившее было нас беспокойство быстро рассеялось, так как Монев, не торопясь, отдал какое—то распоряжение и прискакал к остановившейся колонне.

В моей команде находился доктор Иванов (впоследствии погибший в г. Пернике), и я обратился к Моневу с предложением послать доктора для перевязки двух раненых.

«Не мат нужда (не нуждаются)», — ответил Монев и отъехал в голову колонны. Я понял назначение двух услышан-

ных нами выстрелов. Должен сказать, что если до сих пор капитан Монев пользовался моей безусловной симпатией, вызванной его храбростью и своеобразным остроумием, то теперь эта симпатия поколебалась. В дальнейшем она и вовсе испарилась. То, что произошло в тот же день, уничтожило её окончательно.

Без всякого сопротивления часам к трём мы вступили в Чупрене. Встретили нас опять—таки три старика с традиционными блюдами зерна и воды. Но отношение Монева к этим старикам было совершенно иное, чем в Чипоровцах. Ударом ноги он выбил из рук трёх «делегатов» блюда и, отвесив три тяжёлые пощечины, завопил: «Стига дипломация!» (Хватит дипломатии!) Дальнейшее его распоряжение было таким: в течение часа сдать всё имеющееся оружие под страхом расстрела всех жителей деревни.

Неожиданно к Моневу подошёл какой-то другой болгарский капитан, который не был в его отряде. За этим капитаном следовало человек шесть солдат, одетых в форму пограничников. Как мне стало известно потом, это были чины пограничного поста, взятые в плен коммунистами и теперь освобождённые нами. Монев и неизвестный мне капитан удалились в ближайший дом, а весь отряд продолжал стоять на улице. Теперь моё внимание привлёк маленький старичок, имевший на животе барабан и похожий на ошпаренного петуха. Побарабанив, старичок вопил истошным голосом: «Всички да дават орыжие! Всички да донесут него до една до кмета». Этот вопль слышался с полчаса.

Начали сносить оружие, но почему—то только бабы и девчонки. В возрастающей куче оружия я заметил старый заржавленный австрийский штык, кремнёвый пистолет без курка, имеющий большую музейную ценность, турецкий ятаган времён взятия Азова и всё в таком духе. Имелись в куче топоры и вилы. Было два или три кистеня времён покорения Сибири. Всякого хлама хоть отбавляй, но оружия я не видел.

Вышедший для конфискации оружия Монев в сопровождении неизвестного мне капитана ироническим взглядом осмотрел «арсенал». Новая тяжёлая оплеуха звякнула по лицу кмета. Тот стоял неподвижно, и кровь текла из его рта и носа.

— Если через десять минут ты не доставишь сюда то оружие, что привёз Дончев, то я спалю всё село и расстреляю всех жителей!

Избитый кмет молчал.

- Где Дончев?
- Не веждам, ответил кмет, избегал.
- Лыжёшь! крикнул Монев.

Вся эта дикая сцена произвела на меня очень тяжёлое впечатление. Но затем я почти оправдал Монева. Посланные им солдаты его отряда на обыск в дом Дончева начали приволакивать длинные деревянные ящики, но было несколько и небольших, хранивших цинки с боевыми патронами. Это был уже не сданный нам «арсенал»! Один из длинных ящиков оказался открытым. В нём в густом зелёном жире были уложены винтовки Манлихера, причём три винтовки, находившиеся сверху, отсутствовали.

Во всё время процедуры принесения ящиков кмет стоял бледный, как полотно. Но Монев не смотрел на него.

— Ште запалите кышта! (Сожгите дом!) — приказал Монев.

Через несколько минут дом Дончева запылал. Освобождённый нами болгарский капитан, стоявший рядом с Моневым, видимо, что-то возражал ему, не одобряя его действий. Монев даже не повернул головы к нему, а снова набросился на кмета.

- Де картечница? (Где пулемёт?)
- Не веждам, развёл руками кмет.
- Не веждашь? заорал Монев, аз взямах! (я взял), глядай! и приказал подкатить взятый нами пулемёт. Опять несколько ударов по лицу кмета. Тот упал.
- А где твои люди? всё более и более неистовствовал Монев, почему я вижу только баб? Где? и он начал выкрикивать чьи–то имена. Где они?

Я не уверен, но мне, стоявшему в некотором отдалении, казалось, что кмет лежал в глубоком обмороке, но, может быть, и притворялся. Монев подозвал к себе облезлого старика-барабанщика и приказал ему объявить, что всё село будет сожжено, если все попрятавшиеся мужчины не явятся на площадь перед домом кмета. Невозможно описать тот женский вопль и плач детей, которыми огласилось село. Но... через несколько минут начали появляться бабы в со-

провождении мужчин. Монев бросал на пришедших короткий взгляд, смотрел в вынутый им из кармана лист бумаги и жестом руки приказывал пришедшим становиться рядом. Так собралось более шестидесяти человек. Очевидно, это было всё не бежавшее мужское население.

Неожиданно Монев повернулся и подошёл ко мне.

— Поставьте пулемёт и расстреляйте их всех! — приказал он.

Обычно спокойный, я редко испытывал то состояние, которое определяется выражением «кровь бросилась в голову». Но здесь она мне бросилась.

- Я солдат, а не палач! Я имею точную инструкцию от моего командира полка не принимать участия в расправах, а только оказать вам полную поддержку в бою!
- Здесь нет Вашего командира, здесь командую я! заорал Монев.

Хорошо, что я не вспылил и не ответил ему в том же духе, а взял себя в руки.

— Всякое Ваше боевое приказание я исполню, но нарушить инструкцию моего командира я не могу! — эту фразу я произнёс совершенно спокойно, как мне казалось и как я старался.

Готовую разразиться грозу рассеял освобождённый нами капитан, что-то сказавший шёпотом Моневу.

— Хорошо, тогда я справлюсь и без Вас, — сбавив тон, сказал Монев.

Опять недоразумение: эту фразу я понял как «вы мне больше не нужны» — а потому обратился к нему с вопросом:

- Кому я должен сдать лошадей и подводы, вернувшись в Белградчик?
- Почему Вы собираетесь вернуться в Белградчик? испугался Монев.
- Да ведь Вы мне сами сказали, что я Вам больше не нужен! изумился его испугу и я.
- Я Вам никогда этого не говорил! Вы мне ещё очень нужны, чтобы перехватить ту банду, которая ограбила Государственный банк в Фердинанде!

Это сообщение было для меня новостью. Однако неправильность моего перевода поняли оба болгарских капитана.

— Я имел в виду только их, — Монев ткнул пальцем в стоявший ряд ожидавших решения своей участи жителей Чупрене.

Во время происходившей между нами сцены в Чупрене вошёл какой-то другой отряд, численно немного меньше нашего и имевший на вьюке один пулемёт. Как потом выяснилось, этот отряд шёл дорогой, которая по первоначальному плану предназначалась нам. Монев тотчас же пошёл к нему навстречу, оставив нас с неизвестным нам капитаном. Капитан оказался чрезвычайно распорядительным и даже услужливым. Он немедленно указал нам три дома для нашего расквартирования, сам отвёл нас туда и сказал мне, что он остаётся здесь в качестве коменданта, что по всем жизненным вопросам я могу обращаться непосредственно к нему.

В доме, где мне пришлось остановиться, находилась только одна девушка Цветанка, заплаканная и растерянная. Вскоре появилась и какая-то старуха, очевидно, бабушка Цветанки. Вместе они принялись что-то стряпать, не глядя друг на друга и не поднимая голов. Вероятно, один вид наш внушал им ужас. Никакие наши попытки быть с ними как можно более приветливыми и ласковыми успехом не увенчивались.

Не помню уже, кто из офицеров, помещавшихся со мною в этом доме, подошёл к старухе, обнял её за плечо и сказал ей: «Майка, какво имашь?» (Мать, что с тобой?) Старуха расплакалась. И вот что мы узнали: её сын, отец Цветанки, стоит в ряду предназначенных к расстрелу людей. Узнали мы, что местный учитель Дончев привёз в их деревню «пушки» (ружья) и подбил людей, кого угрозами, кого взятками, к восстанию. «Мужик умён, да мир дурак», — говорит русская пословица. После долгих криков на сходке постановили примкнуть к восставшим. И вот теперь за Дончева должно расплачиваться всё село, а сам он убежал неизвестно куда. Мы уже знали судьбу Дончева, а рассказ старухи не оставлял во мне ни малейшего сомнения в её желании выгородить сына.

Ну, что мог я сделать? После недавнего столкновения с Моневым моё заступничество привело бы к обратному результату. Но мне было жаль и старуху, и девчонку. Правда, я ещё не совсем верил в приказание Монева о расстре-

ле всех. Неожиданно появился наш болгарский комендант в сопровождении десятка солдат. Явились они за взятым нами пулемётом и ящиками с пулемётными лентами. Помню, что, опасаясь употребления этого пулемёта для расстрела, я предупредил коменданта о том, что красный пулемёт лишен охлаждения, а потому действовать не может.

С самого начала нашего знакомства теперешний комендант возбудил во мне некоторое доверие, а потому я обратился к нему с просьбой сделать всё возможное для облегчения участи приговорённых к расстрелу. Он взял меня под руку и отвёл в сторону. «Монев — злой человек, — сказал он мне, — а жители этой деревни все контрабандисты. Монев знает их всех». Если Кото (сын старухи) не является одним из «вождей» восстания, то комендант обещал мне сделать всё, от него зависящее.

Забрав пулемёт и ленты, капитан и его команда удалились, но через полчаса ко мне явились два болгарских унтера из отряда Монева, передавшие мне его приказание перегрузить пулемёты на вьюки и через час быть готовыми к выступлению. Оба унтера должны были помогать мне при навьючивании. Слава Богу! Без них мы никогда не справились бы с этим замысловатым снаряжением, которое именуется вьюком. За всё время процедуры навьючиванья я сохранял вид наблюдающего за правильностью операции, не понимая в ней ни хрена. Поражала меня и ничтожная нагрузка лошади: тело пулемёта и два ящика, хорошо уравновешенные. На следующей лошади следовали станок и ещё два ящика и так далее. Но один из лёгких пулемётов грузить на лошадь я запретил, предпочитая иметь его под рукой. Минут за двадцать до данного мне срока всё было готово, и я послал одного из болгарских унтеров доложить Моневу о полной готовности моей команды, а сам вернулся в хату.

Во время перегрузки вбежал во двор болгарин с «добросовестно» разбитой физиономией. Это и был Кото, сын старухи. Мать и дочь положили его на циновку и покрыли мокрыми тряпками его «деформированное» лицо. В хату я вошёл с единственной целью: заплатить, несмотря на запрещение, за наш постой. В Чипоровцах мы все заплатили по 28 левов за человека и по 9 левов за лошадь. Суточные деньги я получил ещё в Белградчике. В Чупрене же мне было запрещено платить жителям за постой.

Оставив старухе деньги, я вышел. Моя команда стояла в полном порядке, но отряд Монева ещё не появлялся. Это обстоятельство позволило мне обольстить себя надеждой, основанной на прибытии Кото (хоть и не без ущерба, но в целости), что и все остальное ограничится жестоким мордобоем, но не более. Увы! Моя надежда не оправдалась: вскоре загремели ружейные выстрелы, продолжавшиеся с добрый пяток минут. Затем раздалось ещё несколько отдельных выстрелов и всё смолкло. Ещё через несколько минут появился и отряд Монева, шедший цепочкой (один за другим). Отряд обогнул мою команду и продолжил движение вперёд. Во главе этого гуська шёл один из офицеров отряда, но самого Монева не было. Проходившие мимо нас болгарские солдаты шли молча, очевидно, сами терроризованные кошмарным актом расправы. За хвостом прошедшего отряда двинулась и моя команда. Лежавшая перед нами дорога была достаточно широка для того, чтоб мы могли следовать сбоку от наших вьючных лошадей. Не более чем через полчаса нас обогнал Монев и поскакал в голову цепочки, не сказав мне ни слова.

Около часа шли мы по каменистой, довольно широкой грунтовой дороге, подведшей нас к подножию высокой, заросшей лесом горы. Здесь дорога повернула влево и потянулась по подножью горы, а мы, оставив её, начали взбираться по узкой, крутой и едва заметной тропинке. Пришлось и нам идти гуськом, так как ширина тропинки не допускала возможности идти рядом с лошадью. Мы, марковцы, народ, втянувшийся в военные действия и способный на великие жертвы, но не к лазанью по горам! А самое обидное было то, что болгары шли как по ровному месту, наши лошади тоже, а мы телепались сзади, проклиная весь мир с момента его возникновения и до происшествия с нами. Болели все суставы, спина, все мускулы. А беспрерывное движение продолжается уже два с половиной часа без малейшего перерыва! Когда же оно кончится? Надвигавшийся «удар грома» разразился: я приказал остановиться и сделать привал. Наши физические возможности были израсходованы. Минут через двадцать подъехал ко мне от головы колонны адъютант Монева, горячо убеждавший меня продолжить наш путь ещё 15 минут, после чего начнётся спуск к «Влашско Село», отстоящее от нас в четырёх верстах. Помянув родителей, отправились мы дальше и карабкались ещё более получаса. Наконец дотащились до места, где нас ждал весь отряд. С занятого нами отрога горы открывался вид на лежавшее под нами плоскогорье с видневшимися на нём домиками села влахов — конечной цели нашего перехода.

Ещё до наступления сумерек вошли мы в это село. Никаких диких сцен, свидетелями которых нам пришлось быть в Чупрене, здесь не произошло. Никакого исключительного приёма оказано нам не было. Создавалось впечатление, что влахи даже вовсе не интересуются нашим прибытием и продолжают вести свою обычную жизнь. Мужчины в коротких белых юбочках, с белыми шерстяными чулками на ногах, в каких—то туфлях с высоко задранными острыми носами сновали меж деревянных сараев. Женщины и подростки появлялись из домов с чем—то похожим на вёсла на плечах, перекрикивались и снова исчезали за дверями. Видимо, проводилась какая—то коллективная работа.

Недолго пришлось нам толочься на улице в ожидании расквартирования. Почти сразу я получил три дома для моей команды. С момента выхода из Чупрене Монев избегал встречи со мной и за весь переход не обратился ко мне ни разу, передавая свои приказания через адъютанта. Натянутость наших отношений не подвергалась сомнению, на что мне было наплевать!

Остановлюсь немного на занятии жителей Влашского Села. Здесь производился весьма известный в Болгарии сыр кашковал — нечто похожее на швейцарский сыр. В Софии этот сыр продавался по 100 левов за кило, тогда как обыкновенный овечий сыр (брынза) стоил не более 5 левов, а в провинции — полутора. Огромные колёса кашковала весом в 2,5–3 пуда заполняли все многочисленные сараи села. Судя по бесконечному количеству чёрных буйволов и не меньшему числу овечьих стад, сыр этот делался из смеси овечьего и буйволиного молока. Однако на этом моём умозаключении я не настаиваю, ибо не знаю, как делается кашковал. Но я видел собственными глазами высокие глиняные сосуды, наполненные до краёв молоком. По

своей величине и форме они были копиями тех сосудов, в которые богатая воображением Шехерезада спрятала разбойников Али–Бабы.

В отличие от болгарских домов в районе Белградчика, где в каждом доме отведена комната для шелковичных червей, в домах влахов имелась пристройка, представлявшая собою отдельную комнату, сплошь заставленную «амфорами» с молоком. Кроме того, при каждом доме находился довольно большой сарай, куда складывались «колёса» кашковала.

Не могу не остановиться и на описании поданного нам ужина, главным образом его первой части. Эта первая часть состояла из супа, называвшегося «подпара». Приготовлен он был на наших глазах, а потому я беру на себя смелость изложить его консистенцию. В полведра кипятку было вброшено несколько кусков сыра, несколько лепёшек, разрубленных топором (не мамалыга, не хлеб), какая-то очень душистая трава и три разбрызганных пёрышком яйца, сварившихся дробью. Только из вежливости проглотили мы не более одной двадцатой этого шедевра кулинарного искусства. Утешил нас поданный затем жареный ягнёнок, заслуживший общее признание и одобрение.

Окончание нашего ужина совпало с уже сильно сгустившимися сумерками и вызовом меня к капитану Моневу. Монев принял меня так, как будто между нами ничего не произошло, и поставил в известность, что в пять часов утра отряд выступает. Нам предстоит взобраться на гору Мартинова Чука (Молоток Мартына), никаких жилых мест на нашей дороге не встретится, а потому мы должны взять с собой продовольствие и запас воды. При отряде пойдут две лошади, везущие воду. В качестве продовольствия нам было предназначено три колеса кашковала, приведшие меня в ужас: 8-9 пудов добавочного веса! И с этим лезть на гору? Я «благородно» отказался от двух и «скромно» ограничился одним. Опыт сегодняшнего дня настойчиво требовал от меня наибольшей лёгкости при покорении непривычной для нас местности. Кроме того, непривычное походное движение отряда (без коротких привалов после каждого часа движения) и явная невозможность для нас следовать за жителями гор без физического ущерба для наших ног, спин и даже, неизвестно почему, шей, заставило меня обратиться к капитану Моневу с вопросом:

- Сколько часов будет продолжаться наше восхождение?
- С одними болгарами, ответил мне Монев, достаточно восьми часов, но с вами, надо считать, десять. Обидно, но факт!

В 5 часов утра мы выступили. На юго-восток от нас высилась Мартинова Чука. Это чудовище, по низу покрытое густым лесом, одевавшим его более чем на версту вверх, вдруг преполовинивалось пустым пространством, закрытым облаками, над которыми блистала шапка вечных снегов. Пустяки дело!

И вот начали мы ползти вверх, окружённые высоким буковым лесом. Ползли, ползли, ползли... стали! Пройденная одна десятая пути уже показывала нам всю нашу неприглядную будущность. Не знаю, правда ли наши лошади смотрели на нас с горьким упрёком и презрением, или мне это только показалось, но точно помню, что Монев прислал ко мне своего адъютанта с ехидным вопросом, достаточно ли мы отдохнули.

Достаточно! Крути-гаврила! Пошли дальше. Удивительное дело: со второго часа как будто прекратилась невыносимая боль в ногах. Они словно одеревенели и двигались сами по себе. Опять вползли куда-то и опять остановились.

На этом втором привале я обратил внимание на большое количество зимнорода, росшего вокруг нас. Это странное растение представляет собою два листа формы ландыша, растущие от одного корня, плотно охватывающие друг друга и образующие зелёный бутон, напоминающий бутон тюльпана. Когда зимнород созревает, то бутон раскрывается, а внутри оказывается невысокий стебелёк, покрытый четырьмя поясками, состоящими из двух продолговатых и двух кругленьких шариков. Верхний поясок усажен продолговатыми зёрнышками, похожими на пшеничные. Следующий поясок имеет тоже продолговатые зерна, но с тонким волоском сверху. Третий меняет свой цвет и форму: из кремового цвета двух первых поясков становится лиловым. Четвёртый, почти белый, состоит из круглых шариков, как и третий. Это рас-

тение обладает пророческим свойством: верхний «этаж» представляет пшеницу, второй — овёс, третий — виноград, четвёртый — кукурузу. За четыре года моего пребывания в Болгарии зимнород ни разу не оскандалился. Ежегодно ширина поясков меняется. Из года в год один или другой из четырёх поясков становится уже других. Болгарский земледелец уже с мая месяца определяет урожай представленных зимнородом злаков. Чем шире и полнее один из поясков зимнорода, тем больший он предсказывает урожай либо пшеницы, либо овса, либо винограда, либо кукурузы. Растение это появляется в конце мая и исчезает к концу июля.

Но зимнород — зимнородом, а ноги — ногами! Надо ползти дальше. Около полудня добрались мы до заброшенной лесопилки, где остановились на большой привал. Если до сих пор лес, по которому мы шли, был главным образом буковым с редко встречавшимися дубами, вязами, грабами и прочими деревьями, то отсюда он всё более и более становился сосновым, пока не стал им окончательно. По мере подъёма уменьшалось и «народонаселение» леса. На первых пяти-шести переходах можно было видеть и диких коз, и каких-то длинноногих животинок, напоминающих серну, много ястребов и коршунов. Из-за камней выглядывали любопытствующие ящерицы, запоздавшие удалиться саламандры, в большом количестве гадюки с мягким рогом на носу пятиугольной головы (говорят, очень ядовитые). А щебетанье птиц наполняло весь лес.

Но в сосновом бору нам не пришлось встретить ни одного обитателя: или они разбегались перед головой нашего отряда, или их вообще не было. Исчезли и птицы. Так, поднимаясь всё выше и выше, достигли мы широкого плоскогорья. Лес кончился. Поблизости слева тянулась полоса деревьев, отчеркивающая лёгкий косогор, по которому шла наша дорога. Направо — открытое пространство с версту длиной, переходящее в высокие скалы, за которыми виднелась снежная шапка горы. Впереди — бегущая вдоль по косогору ровная тропинка, уходящая куда-то вдаль.

При выходе на плоскогорье был сделан последний привал. Впервые за весь день ко мне подошёл Монев, объяснивший мне цель нашего путешествия по горе. Восставшие, ограбив Государственный банк в городе Фердинанде,

собираются унести свою добычу в Сербию и пойдут по той дороге, которую мы через час осилим. Показал он мне впервые за время наших совместных действий также карту и зарисовки нашей будущей засады. «Подробности мы обсудим на месте, после того как вы выберете позицию для пулемётов, — сказал он, — а теперь двинемся «оште малко» вперёд».

«Оште малко» действительно оказалось коротко, и всё движенье по плоскогорью продолжалось не более часа. За всё время этого последнего перехода Монев оставался с нами и шёл рядом со мною. О происшествиях вчерашнего дня между нами не было сказано ни слова. Мы оба старательно избегали касаться тем, относящихся к недавнему, но уже прошлому. Помню, что, по словам Монева, с отходящим отрядом красных должны были следовать Димитров и Коларов (будущий председатель Коминтерна), везущие с собой золото, украденное из Госбанка. Предпринятая нами единственно возможная дорога имела целью опередить отходящую коммунистическую банду и «захлопать» её в таком месте, где никакое спасение даже отдельных людей было бы невозможно. Наше восхождение по Мартиновой Чуке дало нам возможность обогнать «товарищей» часов на пять, так что у нас имеется большой срок для выбора позиции. Во время моего разговора с Моневым было уже 5 часов вечера. Следовательно, наша встреча могла произойти не раньше 10-11-ти часов ночи, то есть в полной темноте. Хм!

По дороге я обратил внимание на разделённые длинные пространства земли по правую руку нашего движения. Но кто же работает на такой высоте? Какой злак может расти здесь? На мой недоуменный вопрос, Монев ответил: «Кабаны. Да вон они!» И он передал мне свой бинокль.

Действительно, в шестистах шагах от нас я увидел то, чего до сих пор мне никогда ещё не приходилось видеть: это было стадо из нескольких сотен диких кабанов, пасшихся совершенно спокойно и не обращавших на нас никакого внимания. В Галлиполи мне приходилось видеть 20–30 кабанов, пасшихся вместе, но здесь их было так много, что просто казалось невероятным. Я не видел ни одной головы, а только спины, так что вся эта орда напоминала движение форели в период метания икры.

- Жаль, что нельзя подстрелить одного! сказал я Моневу.
- Да Вы взбесились! воскликнул он. При первой опасности вся эта лавина бросится на нас, и ни один из нас не уйдёт живым всё будет снесено на их пути. Здесь никакая охота на них невозможна. Поздней осенью они спускаются в леса, где расходятся на большие расстояния группами в 10–12 штук в поисках пищи, а весной с появлением первой зелени снова возвращаются сюда всем стадом. Если их не трогать, то они не представляют собой никакой опасности, но Боже сохрани обеспокоить их: это гарантированная смерть.

Но вот мы оказались на месте, и я убедился, что Монев знает всю эту местность, как свои пять пальцев. Плоскогорье кончилось. Мы остановились над отвесным скалистым обрывом, под которым проходила дорога, а по ту сторону её снова поднималась отвесная скала. Ширина дороги не превышала 4–х саженей, а стиснувшие её скалы доходили до 7–8 саженей. В общем, «Фермопильское ущелье». Лучшей позиции для засады и придумать было бы невозможно.

До самого наступления сумерек, весь отряд занимался баррикадированием выхода из этого коридора, усыпав его конечный пункт прикаченными туда большими камнями, исключавшими всякую возможность движения подвод по дороге. Оба моих тяжёлых пулемёта, по требованию капитана Монева, были расположены в семидесяти шагах впереди, а два лёгких — с обеих вершин скал, стискивавших дорогу.

Сильно смущало меня то обстоятельство, что между моими пулемётами и точкой их прицела должна была находиться небольшая часть отряда Монева (пятеро солдат и офицер-болгарин). Их задача заключалась в преграждении дороги для неизбежного конского дозора и обращении его в бегство. Путь отступления этому дозору должен был быть отрезан капитаном Моневым. Вся операция должна была пройти без единого выстрела, дабы не потревожить главные силы противника и дать ему возможность втянуться в ущелье, где уже никакое спасение не было бы возможно. Но действовать предстояло в полной темноте. Когда открыть огонь? Как узнать о развитии операции? На эти мои недоуменные вопросы Монев ответил: «Ште виждите» (увидите). А что я мог увидеть ночью? Передо мной чёрная дыра выходящей из скал дороги, а кто находится в этой дыре, свои или чужие, определить невозможно. «Я предупрежу вас, — сказал Монев, — когда вы должны начать стрелять, а ответственность беру на себя». И он покинул нас, нырнув в глубину леса.

И вот в полной тишине наступившей ночи погрузились мы в томительное ожидание. Молчат над нами вершины снеговых гор. Молчит внизу лес. Полная тишина. Бесконечно долго тянется время. Который час, никому не известно: часов ни у кого нет. Жуём кашковал и запиваем ракией. Ни звука, ни шороха! Ждём.

Показалось мне, что долетел до моего слуха не то человеческий голос, не то крик филина, и опять всё смолкло. Спустя продолжительное время снова послышался тот же звук, но уже гораздо явственнее, а к нему присоединился другой, похожий на визг. Мы насторожились. Или филин задрал зайца, или Монев перехватил и зажал в ущелье отступающий коммунистический отряд. Что из двух?

Наше сомнение вскоре было рассеяно присланным ко мне от капитана Монева унтер-офицером, сообщившим мне, что я могу снять мои пулемёты и дать людям отдых, так как завтра с рассветом мы идём дальше. «Всички вземали!» (Всех взяли!) —торжествующе добавил болгарин.

Вот те и бой! А мы тут причём? Конечно, очень обидно не выпустить ни одной пули и выиграть сражение чужими руками. Гордиться тут не приходится, так мы и не гордимся: всё было сделано без нас, а наше участие выразилось в поглощении кашковала и в томительном ночном ожидании. Всё, что произошло, нам неизвестно.

Проведённый нами остаток ночи никак нельзя было назвать спокойным, так как температура горных высот и непосредственная близость снега неприятно действовали на весь организм и особенно на зубы, не прекращавшие лязгать. Кроме того, ещё до рассвета мы были разбужены внезапно открывшейся ружейной стрельбой, происхождение которой оставалось для нас непонятно. Пришлось принять все меры предосторожности и покорно дожидаться развёртывания событий. Впрочем, огонь скоро прекратился, а затем с первым проблеском зарождающегося дня

ко мне был прислан болгарский унтер-офицер, передавший приказание грузить пулемёты на вьюки. От него же я узнал, что все захваченные ночью коммунисты были расстреляны под утро.

Повёл нас унтер на соединение с основным отрядом, которое и произошло на горной дороге, где нас уже ждала колонна. В хвосте её я заметил четыре или пять подвод, вероятно, принадлежавших захваченным нами коммунистам и, также вероятно, гружёных золотом. Странным было только то, что подводы эти не охранялись нашим воинством, а скромно довольствовались одним своим возницей. Уже почти в самом низу я узнал, что Димитров и Коларов успели уйти в Сербию за сутки до нашего появления на Мартиновой Чуке, а перехваченный нами отряд (до ста человек) являлся только арьергардом. Золото же исчезло вместе с двумя вождями «пролетариев всех стран».

Дорога, по которой мы теперь спускались с горы, была усыпана мелкими камнями естественного происхождения, а не насыпанными дорожным ведомством. Сбегала она очень круто, шла лесом и привела нас часам к трём дня к небольшому монастырю Святого Иоанна Рыльского.

Это был не знаменитый Рыльский монастырь, а совсем маленький, воздвигнутый в честь того же святого. Во времена турецкого владычества здесь разыгралась чудовищная драма: несколько тысяч болгар были окружены турками и изрублены. Трупы подвергшихся бойне мужчин, женщин и детей были лишены погребения и лежали кучами более двадцати лет, уничтожаемые гиенами, шакалами и воронами. После освобождения Болгарии высохшие и оголённые кости и черепа были собраны в большие глубокие дубовые лари, которые ныне стояли вдоль внутренних стен большой монастырской церкви, наполненные до краёв своим жутким содержимым.

Запомнилась мне чудотворная икона Божьей Матери. По преданию, один из янычар рассёк ятаганом лик Богородицы. Из рассечённого лика потекла кровь. Икона эта поставлена на невысокий помост, весь увешанный нательными крестиками, ожерельями из золотых монет, всевозможными украшениями, чашами и прочим. Окрестное население во всех безвыходных положениях своей жизни: тяжёлых болезнях, горестях или иных страданиях — несёт

этой иконе своё покаяние и возлагает на неё все свои надежды. Приходящий кается, объявляя свои грехи вслух перед всеми прихожанами, целует землю под иконой и прикладывается к лику³¹...

Примечания и комментарии

- ¹ Эта история описана Ю.А. Рейнгардтом в рассказе о своих детских годах «Чёртов рублик». По сюжету рассказа, подстрекаемый приятелем Пашкой, сыном садовника, шестилетний Юра ночью на перекрёстке просёлочных дорог «продал» за двугривенный (вместо рубля) своего кота Ваську «чёрту», «роль» которого в воспитательных целях взял на себя узнавший о затее ребят Александр Николаевич Рейнгардт.
- ² Калерия, героиня повести Е.Н. Чирикова «Юность», красивая, колоритная женщина с сильным характером, предмет мучительной любви главного героя Геннадия Тарханова.
- ³ Добровольческая армия как оперативно–стратегическое объединение белогвардейских войск на юге России начала формироваться в ноябре 1917 года в Новочеркасске генералом М.В. Алексеевым под названием «Алексеевская организация». С начала декабря к созданию армии подключился прибывший на Дон генерал Л.Г. Корнилов. Своё официальное название Добровольческая армия получила 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года по новому стилю). Сначала армия комплектовалась исключительно добровольцами, причём преобладали офицеры и юнкера, а с конца 1918 года путём мобилизации крестьян.
- 4 Николай Ставрогин, герой романа Ф.М. Достоевского «Бесы».
- ⁵ 1-й Кубанский поход («Ледяной») формирующейся Добровольческой армии на Кубань начался 9/22 февраля 1918 года. Армия двигалась с боями от Ростова-на-Дону к Екатеринодару и обратно на Дон. Основной целью было соединение Добровольческой армии с кубанскими белыми отрядами, которые, как выяснилось уже после начала похода, оставили Екатеринодар. Окончен поход был 30 апреля/13 мая 1918 года в районе станиц Мечетинская Егорлыкская. Участников этого похода называют первопоходниками.

- ⁶ Цитата из «Песни о соколе» М. Горького.
- ⁷ Цитата из поэмы «Василий Шибанов» А.Н. Толстого.
- ⁸ 2-й Кубанский поход Добровольческой армии начался 9/22 июня 1918 года: движение армии с боями от станицы Мечетинской, овладение станицами Торговая и Тихорецкая, взятие Екатеринодара, Майкопа, Армавира, Ставрополя. В результате похода к декабрю 1918 года были завоеваны Кубань, Задонье, Ставропольская губерния и весь Северный Кавказ. Участников этого похода называют второпоходниками.
 - ⁹ Продолжение рассказа утеряно.
- ¹⁰ Митька, герой повести «Князь Серебряный» А.К. Толстого, деревенский увалень, обладающий подлинно богатырской силой.
 - ¹¹ Великая война 1-я Мировая война.
- ¹² Прозвище Томняга было, по-видимому, дано Пржевальскому вначале за томные и деланные манеры. После какого-то случая, описание которого утеряно, он изменился коренным образом. Привожу последние слова моего отца: «И показалось мне, что в выражении его лица что-то изменилось: исчезло то ненавистное мне выражение, которое делало его смешным и несимпатичным. В следующих переходах и боях рядом со мною шёл уже новый корнет Пржевальский» (прим. Н. Рейнгардт).
- ¹³ Упоминаемое мной имя Сеня относится к юнкеру Семёну Козлову, сыну старосты артели носильщиков на Казанском вокзале. До поступления в 3-ю Московскую школу прапорщиков Семён служил телеграфистом на станции «Москва Торговая». Участник защиты Зимнего Дворца. В 1-м походе и до него состоял в подрывной команде под началом поручика Зонненштраля. Убит в России в 1943 году (прим. автора).
 - ¹⁴ Первый среди равных (лат.).
 - ¹⁵ Здесь: полковая лечебница.
 - ¹⁶ Цитата из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».
 - ¹⁷ Строка из романса Б.С. Борисова «Я помню день».
- 18 Чай, упакованный компанией «Высоцкий и ${\rm K}^{\circ}$ », основанной в конце XIX века в России. Ныне эта компания работает в Израиле.
- ¹⁹ Цитата из пародийной поэмы Александра Хазина «Возвращение Онегина».
- ²⁰ Под именем Рубашкина автор вывел самого себя (прим. автора).

- ²¹ Эмар Густав (1818–1883, настоящее имя Оливье Глуа), французский морской путешественник, писатель, автор приключенческих романов, в числе которых «Сакрамента», «Масгорка», «Розас» (по названиям испанских населённых пунктов). Испанское восклицание «Карамба!» (выражение удивления, иногда досады и гнева) довольно часто встречается в произведениях Эмара Густава.
- ²² События, описанные в рассказе, относятся ко 2–му Кубанскому походу и произошли, вероятнее всего, в конце ноября— декабре 1918 года.
- ²³ Закуривающий третьим от одного огня непременно будет убит в ближайшем сражении (прим. автора).
- ²⁴ Сергеевка, село в Ставропольской губернии. Однако возможно, это вариант названия села Сергиевское той же губернии, близ которого шли военные действия в конце ноября декабре 1918 года.
- ²⁵ Советский военачальник И.Ф. Федько в гражданскую войну не погиб. Возможно, автор пишет об его однофамильце либо спутал командира всей колонны красных войск с командиром разбитой части этой колонны.
- ²⁶ Дроздовский поход переход 1-й Отдельной бригады русских добровольцев под командованием Генерального штаба полковника М.Г. Дроздовского с Румынского фронта Первой мировой войны на Дон для соединения с Добровольческой армией. Начался 26 февраля/11 марта 1918 года в Яссах, закончился в Новочеркасске 24 апреля/7 мая 1918 года.
- ²⁷ Чинизелли, семья цирковых артистов итальянского происхождения, окончательно обосновавшаяся в России в 1869 году. Имели свой цирк в Петербурге.
- 28 Из пророчества Исайи о приходе Мессии (Ис. 8 9–10): «Внимайте, народы, и покоряйтесь»
- ²⁹ После разгрома Марковской дивизии у станицы Ольгинской 29 февраля 1920 года генерал Канцеров был отстранён от командования и зачислен в резерв.
- ³⁰ Коммунистическое восстание в Болгарии вспыхнуло в сентябре 1923 года преимущественно на северо–западе страны и было полностью подавлено к началу 1924 года.
 - ³¹ Продолжение рассказа утеряно.

«ОБРАЗ ВДАЛЬ ОТОШЕДШИХ ВРЕМЁН...»

Стихи

На назначение генерала Корнилова Верховным Главнокомандующим Русской армии

На Купалу папоротник старый Расцветает в полночь каждый год. Языки багрового пожара Высоко цветок его взметнёт,

По кустам, по мхам погонит тени, Бросит пурпур в омут у ракит, Просияет огненным виденьем И сгорит.

Но пока, клубясь, из тёмной чащи Смотрят тени в пламенную медь, Рвать цветок рукою недрожащей Человек чтоб не дерзнул посметь.

Сонму чудищ, ядовитым гадам Этот час цветенья поручён. Ключ в цветке ко всем сокрытым кладам Заключён.

И его ревниво-бережливо Охраняет колдовская жуть, И к нему руки своей пугливо Человек не смеет протянуть. Нет! Рабам тщеславья и корысти Этот чудный подвиг не под стать, Им цветка руки дрожащей кистью Не держать!

Лишь высокой страстью одержимый Мрачных теней сам раздвинет тьму И вперёд шагнёт, неустрашимый, И один приблизится к нему,

Аромат пылающего жара Жадной грудью трепетно вдохнёт И цветка волшебную тиару Оторвёт.

Лавр, наш вождь,

тщеславью непричастный, Горделиво в зареве восстань И к цветку, уверенный и властный, Протяни дерзающую длань!

Не тебе пред нечистью опешить! Закривлявшись в отблесках крови, На тебя из тьмы пусть прянет нежить — Рви!

24 июля 1917 года

Примечание автора: Это стихотворение написано мною на фронте под Ригой при известии о назначении генерала Л.Г. Корнилова на пост Главнокомандующего Русской армии. В нём я хотел выразить воскреснувшую тогда надежду. Оно было написано только для меня самого и нигде в печати не появилось.

* * *

Генералу А.И. Деникину

Когда в угаре пьяном большевизма Царили на Руси измена и хаос, Сокрыв в своей груди огонь патриотизма, Как некогда Титан, он нам его принёс!

И на руках его тогда толпа носила, И все свои мечты покоила на нём, И день и ночь хвалебные кадила Перед его качались алтарём.

Но помощи ему в его порыве смелом Никто не оказал, заботясь о себе, Забывши Родину, занявшись тёмным делом, Пока не пал Титан, измученный в борьбе.

Его судили все несправедливо строго, Стараясь на него потоки грязи лить За то, что он — Титан — не смог стать вечным богом И подвигом своим их низость искупить.

Пред алтарём его склоняясь одиноко, Из чистых белых роз плетя ему венец, Я, как всегда, люблю его глубоко, Былому божеству не изменивший жрец!

Марковцы

Существует братский орден — Орден рыцарей-монахов, Паладинов чудной Дамы — Дамы в чёрном домино. Лик её никто не видел, Но в глазах её сияет Тайна Вечности, которой Видеть смертным не дано.

Каждый день Она проходит Меж коленопреклонённых Чёрных рыцарей-монахов, Величава и тиха, И из сотен паладинов Искромётным ищет взором Очерёдного счастливца, Брачной ночи жениха.

И, введя в свои покои, Обовьёт руками шею, Дарит быстрым поцелуем, Маску сбросивши с лица. И в ответ её лобзанью — Стекленеющие очи И могильное дыханье Уст холодных мертвеца. * * *

Образ вдаль отошедших времён Жизнь во мне не смогла затуманить — Длинный ряд драгоценных имён Бережёт благодарная память. Каждой строчкой в былое маня, За страницей мелькают страницы. С них спокойно глядят на меня Дорогие соратников лица. Не грусти ж, моя память, не плачь, А ещё и ещё мне поведай Про тяжёлую боль неудач, Про великую радость победы. Подтверди, что и впредь, как и встарь, Мы для Родины нашей не мертвы, На её лучезарный алтарь Принесли не напрасные жертвы. Говори, не устав повторять, Что не будет Россией забыто, Как была её каждая пядь Добровольческой кровью залита. Расскажи про исполненный долг В дни крушенья моральных устоев, Про мой траурный сказочный полк, Про его незаметных героев, Чем была нам родная страна И знамёна её боевые. Расскажи, что дала нам она, Расскажи, что мы дали России. И в сердцах в беспросветную ночь Омертвившего душу изгнанья Нашу Русскую веру упрочь В необорную силу страданья.

Старый гвардеец

В дни, когда пьяными дикими ордами В грязном разгуле в тылу Эти «герои» со злобными мордами Шли, изрыгая хулу; В дни, когда мукой грозил бесконечною Красного зверя оскал, С гневом священным и с болью сердечною Я им тотчас же сказал: «Прочь от России, от образа милого! Муки и смерть не страшат! Станет под стяг генерала Корнилова Верный Отчизне солдат!

В днях беспросветных, богатых сраженьями, В дни наших светлых надежд, В днях, сопряжённых со всеми лишеньями, В дни несмыкавшихся вежд; В днях невесёлых, смертями отмеченных Тех, кто был к Богу призван, В дни новых ран и ещё не залеченных Старых несчитанных ран, Отдыха знать не желая постылого, Не выпуская булат, Шёл напролом генерала Корнилова В сердце носивший солдат.

После в тяжёлые годы изгнания, В годы тупого труда, В годы отходов, измен и шатания, В трудные годы, когда Многие своры с ничтожнейшим вождиком, Всё обращавшие в грязь, В дверь мне стучали назойливым дождиком,

Я им ответил смеясь: «Чужда мне ваша игра в Репетилова И шутовской ваш наряд, К вам не пойдёт генерала Корнилова Верный и честный солдат».

Близится день, когда, Града взыскующий, Тело оставив на тлен, Я подойду к Нему, тихий, тоскующий, Робкий, и стану у стен. Всё на земле я оставил, что тленное, — То, что нетленно, принёс. Это желанье моё сокровенное На прозвучавший вопрос: «Кто ты, ушедший от тела остылого, Ныне стоящий у врат?» — Право сказать: «Генерала Корнилова Старый и верный солдат!»

Песенка русских полей

Люба мне песня весёлая южная, Но бесконечно милей Дальнего севера песенка вьюжная, Песенка русских полей.

Звуки, живые, весёлые, властные, Тихо смолкают вдали, В рокоте струн раздаются неясные Жалобы мёрзлой земли.

Сказочно красит леса онемелые Кистью искусной мороз, Вьюга оденет их в саваны белые, В струйки замёрзнувших слёз,

Серьги берёзкам подвесит из инея. Ропот тревожный воды Мигом заглушат, как пологом, синие И безучастные льды.

Переплетённые волчьими тропами, Пусты просторы равнин. Со снеговыми играя сугробами, Ветер гуляет один.

Скрип по дороге. Морозит. Смеркается. Ветер несносный затих. Что это? Новые звуки рождаются В шири полей снеговых.

Скатерть жемчужная дали безоблачной, Ровная звёздная высь, По проторённой дороге просёлочной Тройки воздушная рысь.

Гой вы, соколики! Гой вы, залётные! Звон бубенцов у дуги. Грёзы волшебные, мило-бесплотные В трепете женской руки.

К сердцу от сердца певучими струнами Вьётся незримая нить. Боже, как сладко, как чудно быть юными И от души полюбить!

Новые звуки настойчиво просятся, Рвутся сильней и сильней. Слышишь? Над вздрогнувшей Русью разносится Благовест сельских церквей.

Людям вещая Великую Истину, В сердце, ликуя, звучат. Радостный шёпот: «Воскресе! Воистину!» И поцелуй троекрат.

Люба мне песня весёлая южная, Да не заменишь ведь ей Песенку севера, песенку вьюжную, Песенку русских полей!

Порог

На мысль о том, что будет Там...

Окутан в сумрак непроглядной тени, Меж двух камней чернеет узкий вход, И в глубину ведущие ступени Глухая дверь ревниво стережёт.

В минуты тяжкие, в своей спокойной вере Без колебания на всё идти готов, Не раз я подходил к закрытой этой двери И руку клал на роковой засов.

И вот теперь знакомое то слово, Которое себе я с юности припас, С которым вечно жил, я повторяю снова, К порогу подойдя уже в последний раз.

И становлюсь пред ним без признака боязни, Единственным желанием томим В неодолимо тянущем соблазне Проникнуть в тайну тьмы, лежащую за ним.

Быть может, здесь, за этими дверями, Прилёг дракон, свернувшийся клубком. Он грудь мне разорвёт железными когтями И сердца огненным коснётся языком.

И развернёт моей он жизни повесть, Ища среди событий, действий, лиц, Как покарать смутившуюся совесть За грех непятнанных и пятнанных страниц. Иль оправданье мне отыщет он в отраве Перенесённых мной мучительнейших дней — Тех двадцати годов, которые я вправе Брезгливо выкинуть из памяти моей.

Иль это путь в страну клубящихся туманов, В мир сумрачный за гранью звёздных сфер, В мир призрачных громад Левиафанов, В который Каину взглянуть дал Люцифер?

Или, из хаоса плавящего горнила Живой пылинкою забросивши в Космо́с, Меня всё та ж неведомая сила Отжившим атомом вернёт назад в хаос

И, вновь создав, оденет тканью плоти И возвратит в движенье бытия, В непрерываемом держа круговороте, Где будут свет и тьма, но где не будет «я»?

Но где бы ни был я: в активе иль в пассиве — Мне предстоящий путь суров и одинок. И, может быть, в конечной перспективе Окажется один чудовищный «бобок»?

А может быть, меня там Згривец встретит, Присмотрится, узнает, обоймёт И крикнет в радостно ликующем привете: «Никак, Лингва́рдт? Ну, слышь, ко мне во взвод!»

В гаданиях моих ни смысла нет, ни проку. Всё сбудется, что быть должно теперь. Я к роковому подошёл порогу И широко распахиваю дверь!

На избранную расу Дух не сходит властно, И не отмечен Им благой и сильный муж. И в Азии груди иссохшей ежечасно Пустые Солнца жгут зародыш мёртвых душ!

У рек аскеты-созерцатели всецело Вникают в позднюю и чистую волну. Восплачьте, мудрецы! Ведь мудрость овдовела: В лазури Лотоса не царствует Вишну!

Эллада, в злате кос, сиянием облитых, Кому весь мир воздвиг так много алтарей, На статуях богов, теперь в куски разбитых, Ты спишь последним сном на берегу морей!

Горящего угля нет на устах пророка, Ветра, Адонаис, твой прочь умчали глас. И Назорянин сник главою одиноко, Свой скорбный зов издав в последний раз!

И, рыжий призрак, по брегам озёр бродящий Под покрывалом мира и теней, — Привет тебе, наш род, в глухом гробу лежащий! О, бога своего храни, младой ессей!

И Запад варварский, чья голова кружится, Где души без добра уснули тяжким сном, Подобно стебелькам, что не смогли развиться, День видели один и солнце в дне одном. И мудрецы, под сводом тайной ниши Лежащие, глядят сквозь данный им покой, Как эры гроз и эры мирной тиши Людей несут единой к Вечности волной.

Но нам, снедаемым желаньем неотвратным, Томимым жаждою любить и верить вновь, Скажите, наши дни, вернёте ль жизнь обратно? А, дни прошедшие, вернёте ль нам любовь?

Златые лиры где, цветами обвитые? Где гимн богам счастливых юных дев? Элевс и Делос, ферии младые, Из сердца рвущийся святых поэм напев?

Где все они, обещанные боги? Где идеалы форм, культ пурпура, побед? И взмахом крыл в надзвёздные чертоги В сиянье чистоты всходящий Вечный Свет?

И музы — нищенки небесные — устало, Скрывая горький смех, бредут по городам. О! кровью исходить под тенью покрывала Довольно! Моря слёз довольно также нам!

Да! Зло извечное — в своём расцвете полном! Привыкнул век умы дыханьем отравлять. Привет забвению толпы и мира волнам! Природа, нас возьми в объятия опять!

В хламиде золотой мистические зори, Нам спойте песнь любви в тиши глухих лесов! Явися, солнце, нам в сияющем уборе, Горя, открой нам мир твоих волшебных снов! * * *

Вы, царственные вздохи вод безбурных, Шепчите глубже нам, исполненным забот. Леса, в нас ваших рос свои излейте урны. Святую тишину струи, небесный свод!

Утешьте, наконец, нас от надежд напрасных: Изранил путь пустой босые ноги нам. Прочь от людских скорбей с высоких гор безгласных,

Ветра, несите нас к незнаемым богам!

Но коль Вселенная в ответ на все усилья Нам шлёт один бесплодный эхо-клич, Прощай же, пустота, где дух теряет крылья, Прощай, неясный сон, что не дано постичь!

Ты, роковая смерть, кончающая странство, Прими детей твоих в приют надзвёздный свой, Избавь нас от времён, и чисел, и пространства, И жизнью отнятый нам возврати покой!

Бывает день иль час, когда в пути тяжёлом, Согнувшись под ярмом неисчислимых лет, Дух человеческий в раздумье невесёлом В давно ушедших днях готов искать ответ.

Жизнь утомила в нём бесплодность ожиданья. Изверившись в богах, обещанных векам, К началу мира он свои воспоминанья Священные стремит и внемлет их словам.

Небесных хор светил, любимый и безгрешный, Льёт мирно серебро в таинственность лесов, И над святой горой, и над долиной древней, Где спит под чернью пальм сонм первенцев-богов.

Земли свободу зрит, зелёной дикой пущи, Клубящийся у рек священный фимиам, И океанов зов, у берегов поющий, Катящийся к незнаемым странам.

С вершин великих гор — народов колыбели — Под шум дубрав, под шёпот тихий вод Он слышит, как растёт в ещё безгрешном теле На молодой земле людской наш юный род.

Блаженный! Он считал родную землю вечной И, внемля небесам, знал, что придёт назад. Он не пятнал своей одежды безупречной, Живя в красе Земли счастливей во сто крат.

Любовь, что нас слепит лишь быстрым молний блеском,

Его века, как день, не уставая, жгла В блаженной простоте и в упованье детском. В его святилище не проникала мгла!

Зачем ему блаженства мир наскучил? Зачем ненужный труд и завтра тёмный лик? На небе чёрные ветра сгустили тучи И в час грозы с собой умчали вмиг!

О, шалаши пустынь, великие виденья В задумчивой тени величественных гор, Свободы девственной призывные моленья, Восторгов ранних исступлённый хор!

Напрасно нас зовёт к себе желанья трепет: Кто б ныне мог читать по книге бытия? Глаголов жизни смысл людской

утратил лепет,

Ум смолк, и букву Смерть взяла в свои края.

И пурпур уж никто не разведёт алтарный Перед мистической закатною зарёй. В ветрах не услыхать тебе, о род неблагодарный, Беседы первые меж Небом и Землёй!

Небесный гаснет свет, и свились тучи густо, И чёрной ночи мрак теперь уж недалёк. Звезда угасла старого Ормузда, На пепле божества навек уснул Восток.

Вынужденное письмо

Мой друг настойчивый, навстречу Желанью Вашему я нехотя иду, Но всё же Вам я искренне отвечу И в скинию мою впервые Вас введу.

Я людям чужд. Как некий инок, Свой скит построил я в лесу И на позор, в толпу, на рынок Своей души не понесу.

Ни славы звонкие литавры, Ни поклонения отрадно-сладкий яд, Ни гордое чело венчающие лавры Меня нисколько не манят.

Я не ценю сомнительных ступенек, С которых сверху вниз взирают на людей. Ещё пошлей творить во имя денег. Нет, не ещё, а во сто раз — пошлей!

К священной жертве я не призван Аполлоном* И гаммы стройные глубоко личных строк, Рождённые заветной лиры звоном, В живительный не обращу поток.

Беззвучно, как полёт, и, как мечта, незримо Глубоко под землёй пусть бьёт его вода. Пусть пастухи проводят мимо Свои послушные стада.

^{*} Парафраз из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт».

Признательности знаков я не жажду, Я пью один — мне безразличны те, Кто утолять свою мучительную жажду В чужой способны красоте.

Я не хочу открыть чужому глазу, Что мною для себя записано в тетрадь: Здесь слово каждое и каждую здесь фразу Готов, как женщину любимую, ласкать!

Нескромно в пламенных

любовно-сладких муках Чего ещё искать чужая будет длань? Не для неё трепещет в этих звуках Окровавленная живого сердца ткань!

Мой личный мир в его одежде нежной, Где дружно ужились Апостол и Сатир, Дороже мне, чем неуютный внешний Условностью порабощённый мир.

За этот внешний мир, со всем его соблазном, Со всею мудростью его, С его величием, с грехом многообразным, Ревниво не отдам и пяди моего!

Я свой люблю, а тот мне безнадёжно скучен: Навязывать душе симпатии нельзя! Меня не привлечёт кольцом своих излучин Из праха в прах ведущая стезя.

Меня хмелит напиток мой искристый, Его душа моя неутолимо пьёт. Он не без горечи, но в нём нашёл я истый, Великим счастием меня дарящий взлёт!

Какому ж демону послушный, Я б огнь его палящих жал, Его восторг великодушно Толпе холодной разбросал?

В решения мои я не вношу помарок, Меня согревшую мечту— Небес божественный подарок— Себе оставить предпочту...

Возьми!

Сны, как сладко, как больно вы раните! Отвечая на просьбы мои, Свой портрет ты дала мне для памяти И на нём написала: «Возьми!»

В тело хмель сновиденья отрадного Впился жалом бесчисленных пчёл. Пьяный жаждой желания жадного, Я не раз эту надпись прочёл.

Так чего же брожу я нахмуренный? И сполохом пылает в крови Жаркий вызов в улыбке прищуренной И горячее слово: «Возьми!»

Гадание

Бросила кольцо моё старуха В чашу, полную прозрачною водой. Ворожит над ним, бормочет глухо И трясёт костлявою рукой.

Гладь воды покрылась тенью мутной. Ограничен рамкою кольца, Проглянул расплывчато и смутно Контур незнакомого лица.

Всё быстрей в воде мелькают тени, В глубине волшебный свет возник, И цветы неведомых растений Окружили проясневший лик.

Из зеркал хрустального излома Под прозрачной водной пеленой Ты глядишь, мучительно знакома, Никогда не виденная мной.

«Кто ты? Кто?» — дрожу я как в ознобе. А колдунья шепчет в ухо: «Что ж, Аль забыл уж думать о зазнобе, Аль и впрямь её не узнаёшь?»

На воду подула, посмотрела. Лик исчез, волшебный свет погас, Круг кольца глядит осиротело. «Погоди, в другой посмотришь раз!» Вынула, ворча, со дна колечко, Воду вылила в лоханку у стола, Закоптила густо дно над свечкой

И водою свежей налила.

«Глянь теперь!» — подвинулась колдунья, Голову над чашею склонив. Вижу степь я, ночь и полнолунья Серебристо-призрачный разлив.

Рождены словами волхованья, Заметались тени на бегу И слились неясно в очертанья В серебристо-призрачном кругу.

Миг — и прочь умчалася их стая. Звёзд венком лучистым обвиты, Снова смотрят, муча и лаская, Те же незнакомые черты,

И зовут, и не дарят ответом! Тень, упав, их скрыла красоту. И в степи, залитой мёртвым светом, В мёртвую гляжу я пустоту!

Расплылось кошмарное виденье, Вновь воды прочистилася гладь. Мне уже, я знаю, впечатленья От души вовек не оторвать!

Я узнал! Безумно звать мечтою, Что в виденьях сердце познаёт! Усмехнулась ведьма, и спиною Чешется о череп чёрный кот.

Бафомет

Знак червонный

Я древний фолиант На старом аналое Открою там, где знак Двух треугольников Сплетает с добрым злое И с плевелами злак.

Он сошёл в поля под кровом ночи, Растоптал и вырвал зрелый злак, По межам, вдоль тропок и обочин Разбросал кроваво-красный мак. Трёх борозд сведя прямые грани, Обратил вершиной на закат, Треугольника ж другого начертанье От заката повернул назад. Бороздой, бегущею за плугом, По земле провёл глубокий след И огромным непрерывным кругом Очертил зловещий Бафомет. И над ним, свершивши заклинанья, От земли за грани звёздных сфер В предрассветном тающем тумане Поднялся Денница-Люцифер.

Маленький старичок и великое деяние

Басня Зои Колючкиной

Корявенький, как высохший стручок, В тот час, как шло усопших поминанье, Однажды в Божий храм пришлёпал старичок, Таивший на душе сильнейшее желанье Хоть как-нибудь привлечь к себе вниманье, Зане достойных славы дел Сей старец вовсе не имел.

Желанием прославиться влеком, К великому деянию наклонен, Надулся старичок и... на сажень кругом Густ, омерзителен, невыносим, утробен, Непозволительно вокруг него стал воздух озловонен!

Конечно, этот запашок Вниманье к автору привлёк.

Добившись своего, был старикашка рад И, выставляем с помощью коленки, Торжествовал: «Все на меня глядят! Достойного признанья и оценки Да ведают деянья Кириенки! Не лаптем я хлебаю щи, Взирай же мир и трепещи!»

Какая ж здесь мораль? По мне, здесь нет морали. Но если б резюме вы сделать пожелали, То вот оно: известно многим с детства, Что цель оправдывает средства, И, чтоб попасть в печать —

известный также факт — Довольно совершить лишь непечатный акт!

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ Иоганн Вольфганг Гёте

Почём?

Песнь Мефистофеля из «Фаиста»

Я — всемогущий бог! Закон единоправный, Отечество и стяг, тиран самодержавный! И хмель богатства я, и бедности ловитва! Я — индульгенция и лучшая молитва! Я — ЗОЛОТО! Я — маг, и всё мне нипочём! Вся в слове власть моя, и слово то: «Почём?»

Купить, продать — всё можно за монеты. Любовь, и плоть, и кровь, и слава — на лотках. Склоните головы передо мной, поэты. Почтительно повергнитесь во прах, Король, мудрец, и судия, и страх. Все на колени! Все! Пред силою — в деньгах, В деньгах! Купить, продать — всё можно за монеты, Всё на земле у ЗОЛОТА в руках!

Я — рая ключ и я же — ключ темниц, Чистилище любви, чистилище забвенья, Я — паспорта для всех земных границ, Младенцам — молоко, снаряды — для сраженья, Зерно для птиц, кость для собак. Ключом Для всех и для всего — единое: «Почём?»

Могу разрушить град, велеть цветам не цвесть, Превознести убийц и опорочить честь! Мой час настал! Во весь свой рост сажённый

Встаю властителем небес опустошённых! Все мира ценности остались непричём, А право жить — лишь тем, кто говорит: «Почём?»

Купить, продать — всё можно за монеты, Всё предлагается в продажу на лотках: И души, и тела, сердечные обеты — Всё на земле у ЗОЛОТА в руках! И воздух, и любовь, шальных ветров размах, Фиалок аромат, луч солнечного света, И клятвы верности, и грязные наветы, И корки чёрствые, и бальные кареты, Болезни и талант — товары на торгах! И всё и вся доступно при деньгах, Деньгах! Купить, продать — всё можно за монеты, Всё на земле у ЗОЛОТА в руках!

Достаточно, чтоб мир избавить от угроз
Той страшной тьмы, что над землёй нависла,
Хоть крошечку любви и капелечку смысла.
Чтоб снова расцвели кусты забытых роз,
Исчезла чтобы навсегда тирана власть,
Чтоб вольно мир вздохнул—

довольно для успеха, Который в прах заставит тюрьмы пасть, Всеобщий взрыв безудержного смеха. И расцветут тогда кусты забытых роз, И тьма рассеется, что над землёй нависла. Но надобно, чтоб каждый в дело внёс Хоть крошечку любви и капелечку смысла!

Леконт де Лиль

Полдень

Полдень, царь лета, с лазурных высот Лёг в поля золотистою тканью. Воздух жжёт. Затаивши дыханье, Тихо в огненной ризе земля почиёт.

Тени нет и следа средь простора: Пересохнул источник, нет влаги для стад, И давящие сны недвижимо парят Над опушкой далёкого бора.

И лишь только хлеба разлилися вдали Золотым океаном. Бесстрашно Пьют покорно из огненной чаши Эти мирные дети священной земли.

И тяжёлых колосьев порою Зыбь, как пламенный вздох их души, восстаёт И в палящую даль к небосклону пройдёт Тихим шёпотом их меж собою.

И, на пышный подгрудок пуская слюну, Утомлённо–божественным оком Пары белых волов из глубокой Нескончаемой грёзы следят тишину.

Человек, с твоим счастьем иль горем В жаркий полдень придёшь коль ко знойным полям — Уходи! Нет ни грусти, ни радости там: Всё погло́щено солнечным морем!

Если ж ты, недоступный для смеха иль слёз, Но испуганный мира забвеньем, Не с проклятьем пришёл, не с прощеньем, А желанье вкусить высшей неги принёс,

То войди в пламень солнца, исчезни Для себя, его горним внимая речам, И к ничтожным спокойно вернись городам, Закалённый в божественной бездне!

Шарль Бодлер

De profundis clamavi*

Душа к тебе одной, любимой, воззвала С дна тёмной пропасти, откуда нет исхода, Из мира мрачного с его свинцовым сводом, Где плавают в ночи и ужас, и хула.

И солнце без тепла шесть месяцев над ним, И шесть других ночь виснет над землёю Без тварей, зелени, вод, леса. Ни с одною Полярною страной он даже не сравним.

Но жути в мире нет, которая б затмила Бездушность холода замёрзшего светила. А ночи этой мрак — он хаосу подобен. Я участи скота завидую: способен

Он к дрёме несознания в то время, Как медленно себя растрачивает Время!

^{*} Из глубины воззвах (Псалом 129).

Франсуа Вийон

Баллада висельников

Братья, что наш пережили конец, Злобою к нам не черствите сердец, Жалостью нужно её побороть — Легче и вас пожалеет Господь. Вот мы висим впятером, вшестером, Тело гнилым с нас свисает тряпьём, Тело, что нежили мы во грехах. Стали мы кости, и пепел, и прах. Братья, не смейтесь над нашей бедой, А помолитесь за наш упокой!

Вы не должны нас за то осуждать, Что мы посмели вас братьями звать После того, как за наши вины Были, преступные, мы казнены. Но раз уж смерть нам сковала уста, Вы нас простите во имя Христа, В адский огонь чтоб не ввергнул, а спас Благостью вечной своей Он и нас. Умерли мы. Не корите ж виной, А помолитесь за наш упокой!

Вечно нас мочит и моет дождём, Солнце нас сушит и углит лучом, Выклевал ворон глаза из орбит, Брови и бороды нам теребит. Нам и покоя не знать никогда: Ветер качает туда и сюда, В свете ли дня, среди ночи ли тьмы, Словно напёрсток, исклёваны мы. Нашего братства не множьте собой, А помолитесь за наш упокой!

Спасе Исусе, Заступник за всех, Наши вины не поставь нам во грех, Ад да не будет нас, бедных, удел, Нет у нас с адом ни счётов, ни дел. Братья, не смейтесь над этой мольбой, А помолитесь за наш упокой!

Франсуа Вийон

Молитва к Божией Матери

Владычица, Мати, Царица Небесная, Солнце надежды подземных топей! Молит Тебя христианка безвестная: Грешной, ничтожной, дозволи и ей Быть среди избранных в славе Твоей. Милость Твоя к недостойной рабыне Больше грехов, мной свершённых доныне. Верой моей не могу я шутить: Рай не узреть без Твоей благостыни. Жить с этой верой хочу и почить.

Скажи, о Заступница, Сыну, в кромешную Тьму что б меня не ввергал, что я с Ним. Как египтянку*, прости меня, грешную, Или, как Он пред моленьем Твоим Грех очень тяжкий рассеял, как дым,

^{*} Святая преподобная Мария Египетская (день памяти 1/14 апреля по православным святцам).

И не зачёл чернецу Феофилу*, Взявшему в помощь Нечистую Силу. Дай, чтоб и мне тот же грех не свершить. Мати, Пречистая Дева, помилуй! Жить с этой верой хочу и почить.

Простая я женщина, бедная, жалкая, Тёмная я и не стою наград. В тихой обители, где прихожанка я, Рай нарисован, где лютни, и ад, Где осуждённые в смолах кипят. Рада я раю, страшуся мучений. Дай мне, Царица блаженных селений, То, о чём грешникам надо молить, Веру мне дай без притворства и лени! Жить с этой верой хочу и почить.

Царица, Ты Сына безгрешно зачала, Нет Его царству конца, ни начала. С неба сошёл Он, чтоб нас искупить, Жертву за нас Его смерть означала. Нашего Бога таким я прияла, Жить с этой верой хочу и почить.



^{*} Имеется в виду «Повесть о покаянии Феофила» (день памяти 23 июня/6 июля по православным святцам).

«В НЕИЗВЕСТНОМ ДАЛЬНЕМ ЦАРСТВЕ...»

Сказки в стихах

Аленький цветочек

В неизвестном дальнем царстве, В незнакомом государстве Жил да был один вдовец, По занятию купец. В терему его палаты Были пышны и богаты. Перечесть нельзя всего, Что там было у него: Горы меха дорогого, Груды жемчуга скатного, Много ткани вышивной И не счесть казны златой! Хоть в богатстве жить — отрада, Да любить кого-то надо. Всех богатств своих сильней Трёх любил он дочерей: Больше меха дорогого, Больше жемчуга скатного, Больше ткани вышивной И казны своей златой. Крепко двух любил он больших, А меньшую дочку больше Всех любил он потому, Что ласкалася к нему.

Вот случилося, что вскоре Собрался купец за море К берегам далёких царств, Незнакомых государств, Ко чужим землям безвестным. К дочкам он идёт любезным, Словом отческим своим Обращается он к ним: «Дочки вы мои милые, Дочки вы мои родные, Вам пришёл поведать я, Что в далёкие края По морям и землям новым По делам своим торговым Еду вскоре в путь далёк. А большой иль малый срок Из того вернуться краю — Это я и сам не знаю: Год ли, месяцы ли, дни? Как останетесь одни, То живите мирно, тихо, Не творя ни зла, ни лиха! А коль будете так жить, Вольно вам меня просить Привезти, что захотите: Ткани, жемчуга ли нити, Самоцветных ли камней Аль сибирских соболей. Нет ни в чём для вас отказу! Говорите, да не сразу: Упредить чтобы меня, Сроку вам даю три дня!» Убежали тотчас дочки. Целых три дня и три ночки Думу думали подряд,

Вот пришли и стали в ряд. Двух сестёр опережая, Подошла к отцу старшая, Перед ним главу клонит И, краснея, говорит: «Государь ты мой любимый, Ты мой батюшка родимый, Златотканую парчу Я в подарок не хочу, Соболя мне не отрада, Жемчугам не буду рада, А в подарок мне, отец, Привези золот-венец, Весь покрытый украшеньем, Самопветным весь каменьем. Чтоб лились его лучи Ярче месяца в ночи, Чтоб горели, чтоб сверкали, Днём бы солнце затмевали, Ночью ж быть должно при нём Так же светло, как и днём!» Старшей дочкой сбитый с толка, Тёр купец затылок долго, Много ль, мало ль размышлял, Да потом и отвечал: «На твою, дочь, на задачу Много я труда потрачу, Ну, да так и быть: венец Привезёт тебе отец! Тот венец, я знаю точно, Есть в одной стране восточной У царевны молодой. Спрятан он в колодовой,

Кладовая ж из гранита В глубине горы сокрыта, Три железных двери тут Вход в ту гору стерегут. И ведут к ним три ступени Высотой по три сажени, Три замка немецких в ряд На дверях на тех висят! Это — сказочное диво, Ну да мне не супротивно. Аль венец уж не под стать Мне для дочери достать?» Дочка старшая отходит, Дочка средняя подходит, Пред отцом главу клонит И, краснея, говорит: «Государь ты мой любимый, Ты мой батюшка родимый, Златотканую парчу Я в подарок не хочу. Соболя мне не награда, Жемчугам не буду рада, И в подарок мне, отец, Не вези золот-венец, А достань в стране мне дальней Туалет такой хрустальный, Чтоб его умела гладь Все красоты отражать! Яж, когда б в него смотрелась, Молодела б, не старелась, Чтоб лицо моё бы в нём Хорошело с каждым днём!» Средней дочкой сбитый с толка, Тёр купец затылок долго, Вдвое дольше размышлял Да потом и отвечал: «Из страны заморской дальней Туалет я тот хрустальный Привезу тебе, изволь! А владеет им король, В замке крепком он положен, Из гранита замок сложен Наверху горы крутой В триста сажень высотой. Вкруг обрывистые бездны. В замке семь дверей железных, Семь замков немецких в ряд На дверях на тех висят, И три тысячи ступеней К той ведут заветной сени. Стерегут и ночь, и день К замку каждую ступень, Топоры зажавши в лапы, Черномазые арапы! Ключ с собой и день, и ночь Королевы носит дочь. Тут работа потяжеле, Чем сестре. Да неужели Туалет тот не под стать Мне для дочери достать?!» Дочка средняя отходит, Дочка младшая подходит. Поклонясь отцу до плит, Так, зардевшись, говорит: «Государь ты мой любимый, Ты мой батюшка родимый,

Златотканую парчу Я в подарок не хочу, Ни камений, ни наряда, Ничего-то мне не надо, Мне в венце отрады нет И не нужен туалет. Сделай мне подарок малый: Привези цветочек алый, Чтоб красивее его Не найти ни одного!» «Как же можно, голубочек, Отыскать такой цветочек? Нехитро найти цветок, Ну, а кто ж сказать бы мог, Что на всей земле на Божьей Не найти его пригожей? Потружуся как-нибудь, Но в обиде уж не будь!»

Вот и стал он понемногу Собираться в путь-дорогу. Скоро сказку рассказать, Дело ж долее справлять. Долго ль, коротко ль сбирался, Мне об этом не сказался, Кто захочет — сам узнай! И поехал в дальний край! Ездит он по разным странам Со торговым караваном, Продаёт своё добро За чужое серебро. В деле, знать, ему удача: Коль меняет, так с придачей

Злата, тканей, жемчуга, Коль продаст — втридорога! Груды злата загребает, Корабли им нагружает. Корабли ж с его казной Отправляются домой. Раздобыл и дар заветный: Злат-венец тот самоцветный. Ярким он горит огнём, Ночью с ним светло, как днём! Туалет достал он средней. Лишь для дочери последней, Для любимицы его Не сыскал он ничего. Был в садах султанов, принцев — Нет цветочка для гостинца. Не нашёл цветка он ей И в садах у королей. Много есть цветов там разных, Столь душистых и прекрасных, Что, расскажешь коль о том, Не поверят нипочём! Да никто не поручится, Что красивей не случится: Божий мир — не сад царя, Как же тут ручаться зря? По густым лесам дремучим, По желтым пескам сыпучим, С стражей верною из слуг Едет наш купец. Как вдруг Из лесов на караваны Наскочили басурманы, Вой подняли и галдёж —

И давай чинить грабёж! Тут купец от перепугу Бросил всю свою прислугу, Будто заяц, прыгнул в лес И в кустарнике исчез. «Лучше смерть в лесу аль в поле, Чем кончать свой век в неволе. Растерзает лучше зверь, Чем попасться к ним теперь!» — Так, тоской и страхом мучим, Бродит он в лесу дремучем. Глядь! — прямая, как стрела, Перед ним тропа легла. Он дивится: что за чудо! Здесь тропа! Куда? Откуда? Обернулся: лишь суки — Не просунуть и руки! Вправо рытвины, овраги, Пни, да страшные коряги — Не проскочит и косой! Влево длинной полосой Всё болота, топи, лужи — И не выдумаешь хуже! Вот с опаскою вперёд По тропе купец идёт, Диву дивному дивится. А тропа бежит, змеится, И стена густых ветвей Расступается пред ней. День на небе догорает, А купец себе шагает По тропе среди лесов. Не слыхать ни крика сов,

Ни звериного рычанья — Вкруг него царит молчанье. Ночь — что чёрное дупло, На тропе ж, как днём, светло! Он шагает до полночи. Вдруг, ему блеснувши в очи, Впереди разлился свет. «Эй, идти туда не след! Видно, лес горит пожаром. Так чего ж мне гибнуть даром? Лучше здесь вот, на краю, Я немного постою: Вдруг погаснет аль иною Пронесётся стороною?» Сел на пень купец, глядит: Ярче, пуще свет горит! Двух смертей не испытуешь, А единой не минуешь! Осенив себя крестом, Вновь пошёл купец. Кругом Всё светлей, но нет ни жара И ни дыма от пожара. Чудом этим поражён, На поляну вышел он. На поляне той широкой Видит он дворец высокий В злате, в каменьях цветных. Яркий свет горит от них, Ровно солнышко — не застишь! Окна все открыты настежь, Громко музыка гремит. Всюду яшма, малахит, А ворота — мрамор белый!

Входит он во двор несмело, Видит чу́дные сады, В них фонтаны бьют воды! И по лестнице точёной Во дворец тот золочёный



Входит. Комнат длинный ряд Обошёл он весь подряд. Не встречал в своё он странство Столь роскошного убранства! Но нигде он ни одной Не нашёл души живой. Всё прибрано, да обидно, Что хозяина не видно! Что тут делать, а ведь глад, Чай, не тётка, не свой брат! У него же с голодухи Уж давно бурчало в брюхе: «Закусить бы!» Глядь, стоит Стол, весь яствами накрыт, Да такими, что не снилось Да и есть не приходилось! А уж вкусны, что гляди, Свой язык не проглоти! Пьёт купец медвяны токи, Яства ест за обе щёки. Всё поел и вот опять Стал хозяина искать, Чтобы встретиться где-либо Да сказать ему спасибо. Не нашёл он никого. Сон меж тем клонит его, И подумал он: «Не худо Мне б всхрапнуть!» И вдруг — о чудо! — Ложе с пологом цветным Появилось перед ним! Не прочтя молитву даже В пуховик он лёг лебяжий. Мыслит: «Эх. хотя б во сне Дочерей увидеть мне!» И заснул он сном глубоким. Уж над деревом высоким Солнце красное взошло И полнеба обощло. Он всё спит. Но вот проснулся,

Сладко-сладко потянулся, Вспоминая сквозь дрему, Что приснилося ему. А увидел он хороших Дочерей своих пригожих, Как без батюшки они Коротают долги дни: Резвы средняя, старшая, А грустит одна меньшая. И у первых двух из них Свой богатый есть жених, Что идёт у них веселье, Что готовят новоселье После брачного венца Без напутствия отца. Лишь меньшая слёзы точит, Под венец идти не хочет До поры, пока родной Не воротится домой. Вот вставать он стал с кровати, Видит: вычищено платье. Чай, закусок полон стол Пред собою он нашёл, И фонтан воды хрустальной Бьёт струёй в бассейн кристальный. Солнце смотрит сквозь окно: Знать, вставать пора давно. Он уж чуду не дивится, А спешит скорей умыться, Осенив себя крестом, Закусить, чтобы потом Всё роскошество дворцово Осмотреть сегодня снова.

До чего ж дворец хорош, Просто глаз не отведёшь! Льётся музыка прелестно, А откуда — неизвестно. Под окошками палат Разведён душистый сад. По ступенькам золочёным Сходит он к садам зелёным. Там махровые цветы Ярким солнцем залиты. Всеми красками сверкая, Райских птиц летает стая, Как по бархату шелка Чья-то вышила рука. Трав покровы парчевые Режут струйки ключевые, И фонтаны средь садов Мечут россыпь жемчугов, Аромат вокруг струится. И не знает, чем дивиться, Поражённый красотой Тех садов купец честной. Ходит он по саду-раю Много ль времени, не знаю. Сказку скоро рассказать, Дело ж долее справлять! И увидел бугорочек — Алый рос на нем цветочек, Лепестков того цветка Красота так велика — Не опишешь, не покажешь Да и в сказке не расскажешь. И на весь волшебный сад

Льёт он дивный аромат!
«Красоты такой отменной
Не найти во всей вселенной!
Этот ал цветок — точь—в—точь,
О каком просила дочь!
Вот и ей, моей родимой,
Привезу цветок любимый», —
Сам себе купец сказал
И цветочек тот сорвал.
Тотчас ветром пыль взметнуло,
Ярко молния блеснула,
В чистом небе голубом
Загремел нежданно гром.



И неведомо откуда Перед ним явилось чудо: Он таких не видел ввек! Человек — не человек, А скорее зверь мохнатый, Страшный, рыжий да горбатый. И, остры и велики, Изо рта торчат клыки! Заревел тот зверь могучим, Диким голосом скрипучим: «Что ты сделал? Как ты мог У меня сорвать цветок! Был он жизни мне отрада! Знай, что я — хозяин сада, Ты пришёл ко мне и мной Был обласкан, как родной. У меня ты спал, кормился, Пил... И вот как расплатился За мои за хлеб да соль! На себя пенять изволь! И за ту вину свою ты Здесь погибнешь смертью лютой!» И тотчас со всех концов Вой раздался голосов; Из щелей ползут из разных Рожи чудищ безобразных И визжат: «Умри, пришлец!» На колени пал купец, Так слезами и залился. Гласом жалобным взмолился: «Господин ты мой честной, Зверь ли чудный ты морской Али самый царь звериный,

Не губи души невинной, Не казнить меня вели, А словам моим внемли: В терему моём три дочки Ждут меня и дни, и ночки. В путь пустясь, в любовь и в честь Обещал с собой привезть Им гостинец я заветный: Старшей — венчик самоцветный, Туалет сулил другой. Ну, а дочери меньшой Обещал подарок малый, А всего — цветочек алый, Чтоб красивее его Не найти ни одного. Я для старших потрудился И гостинцами разжился, Только аленький цветок Отыскать нигде не мог. Ныне ж, как вошёл в садочек, Вижу аленький цветочек, И его красивей нет, Хоть объезди целый свет! Каюсь я в вине невольной. Да обидно стало, больно Не привезть подарка ей, Младшей дочери моей. Что тебе цветка потеря? Отпусти меня в мой терем, Не гневись и не кори, И цветок мне подари! Я казною золотою Расплачусь за то с тобою.

Грех великий мой прости И до дому отпусти!» Раскатился, будто грохот, Над садами дикий хохот: «Не хочу казны твоей, Мне довольно и своей! Все мои забиты склады. Нет, купец, тебе пощады, И тебя я по кускам Прикажу порвать слугам. Есть одно тебе спасенье: Коль свершишь моё веленье, Награжу своей казной И с цветочком тем домой Отпущу тебя из плену. Но за то себе в замену Должен будешь ты, купец, Дочь прислать мне во дворец. Жить она со мною вместе Будет здесь в довольстве, в чести. От меня ей не грозит Ни злосчастья, ни обид. Одному-то жить мне скучно, С другом милым же — сподручно». Тут купец при слове том Повалился в землю лбом. Горше стал он убиваться Да слезами обливаться. А на зверя поглядит — Так и пуще завопит, Как припомнит он хороших Дочерей своих пригожих. Много слёз купец пролил,

Наконец заговорил: «Ты ли, зверище лесное Али чудище морское, Уж не знаю, как и звать, Как тебя и величать, А откажут дочки коли По своей приехать воле, Так не руки ж им вязать Да к тебе силком послать? И какою же дорогой В твой попасть дворец высокий? Не найти мне самому». Отвечает зверь ему: «Мне в дому хозяйку надо, А невольнице не рад я. По любви к тебе одной Пусть в дворец приедет мой Дочь — не горькою неволей, А своею доброй волей. А коль все не захотят. Возвращайся сам назад. И тебя я в наказанье Слугам дам на растерзанье. Ну, а как попасть сюда, Не твоя, купец, беда: Перстень мой в златой оправе На мизинец взденешь правый И очутишься вдруг там, Где ты быть желаешь сам, Как бы ни было далёко! Дам тебе три дня я срока». И подумал тут купец: «Коль уж мне пришёл конец,

Лучше к дому воротиться,
Тайн Христовых причаститься,
Дочерей поцеловать
Да тогда и смерть приять!»
Так и зверю он поведал.
Зверь его, знать, мысли ведал,
А как фальши не видал,
Так с него он и не взял
Даже записи заручной.
Перстень снял свой неразлучный,
И едва купец честной
На мизинец правый свой
Вздел его — и не хватился,
Как у дома очутился!

В ту ж пору под скрип колёс В ворота въезжал обоз Со казною непомерной И со всей прислугой верной. Поднялся на целый дом Тут и шум, и гам, и гром! Дочки сразу услыхали, Из-за пялец повскакали И давай отца ласкать, Целовать да миловать! Две-то больно лебезили, Да потом только спросили, Увидавши, наконец, Что не радостен отец, Что ж он мрачен воротился: Не богатства ли лишился? Лишь меньшая не грустит, И родному говорит:

«Деньги — дело наживное, Знать, не в этом горе злое, Мне богатств твоих не жаль. Так открой свою печаль»! И сказал купец хорошим Дочерям своим пригожим: «Не о том печаль моя, Не казны лишился я, А нажил, пожалуй, втрое! Горе ж на сердце иное. Я о горе о своём Расскажу вам завтра днём. Нынче плакать не годится, Нынче будем веселиться Да гостинцы получать, А не горе горевать». Повелел сундук дорожный Принести и осторожно Из него он для старшой Вынимал венец златой. И в воде он не ржавеет, И в огне-то он не тлеет, А уж блеск его камней Ярче солнечных лучей! Туалет потом хрустальный, Что в стране добыл он дальней После множества хлопот. Средней дочери даёт. Дочки чуть что не рехнулись, До палат своих метнулись, Там гостинцами, одни, Вволю тешились они. Вот и малый кувшиночек,

Рос где аленький цветочек, Для любимицы меньшой Вынимал купец честной. На цветок она взглянула, Будто в сердце что кольнуло, Так вот вся и затряслась И слезами залилась. «Что ж, мой белый голубочек, Аль не нравится цветочек? Краше нет ведь, почему б Стал он вдруг тебе не люб?» А она не отвечает Да родного все ласкает,



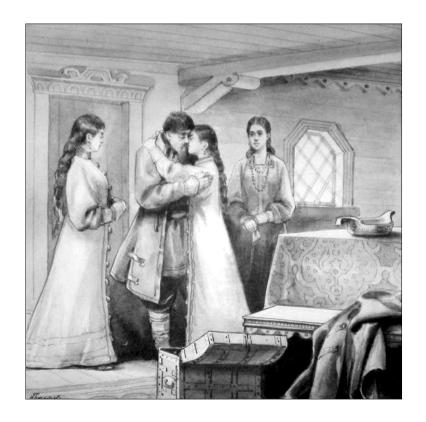
После ал цветок взяла И к себе его снесла. Тут две старших прибежали, Что гостинцы попытали. Тотчас сели все за стол, И горою пир пошёл. Пили, ели, прохлаждались Да речами утешались. После гости ввечеру Собралися ко двору, До полночи веселились, Угощениям дивились Да роскошеству палат. И купцу-то невдогад, Где и брались эти блюда, Золотая к ним посуда, Что видать в своём дому Не случалося ему.

Поутру, лишь рано только Разлилась по небу зорька, Встал купец, позвал скорей Дочку старшую и ей Всё от слова и до слова Рассказал про зверя злого И каков его приказ. Свой окончивши рассказ, Дочь он старшую пытает: Может быть, она желает По любви спасти отца От ужасного конца? Но, добра себе не чая, Дочь, головкою качая,

Отказалась наотрез: «Не хочу я к зверю в лес! Пусть спасает та из дочек, Для кого ты рвал цветочек!» Вот позвал купец скорей Дочку среднюю и ей Всё от слова и до слова Рассказал про зверя злого И каков его приказ. Свой окончивши рассказ, Дочь он среднюю пытает: Может быть, она желает По любви спасти отца От ужасного конца? Но, добра себе не чая, Дочь, головкою качая, Отказалась наотрез: «Не хочу я к зверю в лес! Пусть спасает та из дочек, Для кого ты рвал цветочек!» Вот позвал купец скорей Дочку младшую и ей Все от слова и до слова Рассказал про зверя злого И каков его приказ. Не дослушавши рассказ, Дочь меньшая согласилась, На колени опустилась, Молвит: «К зверю во дворец Отпусти меня, отец!» Залился купец слезами: «Как тебе расстаться с нами? Как отдать дитя своё

На противное житьё? Хоть идёшь по доброй воле, Хоть в большом богатстве, в холе Будешь жить ты у него, Горько мне! Уж твоего Не придётся видеть ока: Тот дворец ведь так далёко, Что вовек к нему пути Человеку не найти, Не найдёт ни зверь рыскучий, Ни сизой орёл летучий! Ты оттоль не сможешь, знать, Даже весточки подать! Не придётся, может статься, Нам с тобою увидаться. Как не плакать мне, скажи?» Молвит дочка: «Не тужи, Не горюй, отец мой родный, Знать, так Господу угодно, Чтобы мне у зверя жить, Верой-правдою служить. Службу он мою увидит, Может быть, и не обидит. Так не плачь же, мой родной, Как над мёртвой, надо мной. Коли мне Господь поможет, Ворочусь к тебе, быть может». А купец дочь к сердцу жмёт Да ручьями слёзы льёт. Тут и сёстры прибежали, Плач на целый дом подняли: Жаль им, вишь, меньшой сестры! А меньшая в те поры

Виду грустного не кажет, Слова горького не скажет, Не кручинится ничуть, Собираться стала в путь, А свой аленький цветочек Уложила в сундучочек. Как подходит третья ночь, Тут прощаться стала дочь. А отец её целует, Крестит, плачет да милует. И даёт потом купец Дочке кованый ларец.



Перстень с дивною оправой На мизинец вздел ей правый — И пропала дочь тотчас, Словно сгинула из глаз!

В разукрашенной палате На резной златой кровати Среди зверева дворца Очутилась дочь купца, Ровно с места не сходила, Ровно тут весь век прожила, Ровно лишь легла поспать Да проснулася опять Под шелковым одеялом. Кувшинок с цветочком алым На столе стоит пред ней. Стала дочь вставать скорей, Видит: здесь её пожитки Все разложены — до нитки. Сколь в палате серебра! Сколь тут скарба и добра! Есть во что и приодеться, Есть во что и посмотреться, Есть на чём и отдохнуть, Посидеть аль прикорнуть! Только дочь купцова встала, Громко музыка взыграла, Будто с неба полилась. Не слыхала отродясь Дочь той музыки прекрасней, Ни приятней, ни согласней! И увидела она, Что была одна стена

Вся, как солнце, золотая, А серебряной — другая, Третья — глаз не отвести — Из слоновой из кости, А четвёртая — зеркальной. «Знать, моя опочивальня, — Тут подумала девица. — Знать, хозяин не гневится, Не корит отца виной, Будет ласковый со мной Да приветный. Яж николи Из его не выйду воли!» Тотчас буквы, все в огне, Появились на стене: «Не хозяин я бездушный, А твой верный раб послушный. Воля будь во всём твоя, Госпожа ты будь моя!» Со стены слова пропали, Словно вовсе не бывали. Снова девица дивится, Но тоской она томится: «Письмецо бы написать, Дому весточку подать!» Никого и не просила, А уж перья и чернила Появились, как во сне. Пишет дочь отцу: «По мне Не тоскуй ты каждодневно: Я живу, как королевна, И меня хозяин мой Называет госпожой. Говорит не голосами —

Огневыми словесами На серебряной стене Мой хозяин пишет мне. Всё, что сердце пожелает, Он тотчас же исполняет, Будто знает наперёд, Что мне в голову придёт». Написав, письмо сложила И печатку приложила. И письмо её из рук Тот же час пропало вдруг. Захотелось ей потом Осмотреть хозяйский дом. Чудных комнат длинный ряд Весь идёт она подряд И дивится их убранству, Столь несметному богатству. Взяв кувшин с цветочком алым, По палатам небывалым В зеленой выходит сад. Ясный день ей точно рад: Там невиданны цветы Ярким солнцем залиты. Златом-серебром сверкая, Райских птиц летает стая, А дерев румяный плод Так и просится ей в рот. К бугорку она подходит, Там ручей струю выводит. Из кувшина вдруг цветок Вылетает, вмиг листок К стеблю своему прижался, Точно век не расставался!

День уж к вечеру идёт,
Перед нею стол встаёт,
Крытый скатертию браной
С яствами, питьём медвяным.
Вот за стол она присела,
С наслаждением поела.
И опять слова в огне
Появились на стене:
«Госпожа, ты всем довольна ль?
Хорошо ль тебе, привольно ль
Во своём жить терему?»
Отвечала дочь ему:



«Всем, хозяин, я довольна, И житьё моё привольно. Краше нет твоих палат, Распрекрасен чудный сад. Всё, что здесь я дивовала, Отродяся не видала. От чудес я, как в бреду. И в себя-то не приду! Хороши питья да брашна, Только спать одной мне страшно, Будто я живу в глуши. Нет кругом живой души!» На стене слова зажглися: «Госпожа, ты не страшися! Отойдёшь ты на покой С верной девушкой сенной, Больше всех тобой любимой. Много здесь людей. Незримо Твой дворец со всех сторон, Как стеною, окружён Крепкой, храброй, верной стражей. Так не бойся ты. Мы даже На тебя, наш херувим, Ветру дунуть не дадим, Сесть пылинке малой праха!» Дочь — к себе. Дрожа от страха, Слёзы горькие лия, Ждёт там девушка ея. И хозяйка, и прислуга, Лишь увидели друг друга, Тотчас крепко обнялись И слезами залились.

Тут же девушка сначала Всё, что только с нею стало, Ей поведала, потом Рассказала и про дом: Как отец по ней скучает, С ней увидеться не чает. До зари в ту ночку, знать, Не легли они в кровать.

Так, часов и дней не меря, Дочь купца живёт у зверя. Каждый Божий день подряд Новый ей готов наряд. Исполняют все услуги Ей невидимые слуги, В колеснице без коней Средь лесов и средь полей Возят каждый день кататься. Так за днями дни катятся, Сладко дочь и пьёт, и ест, Если ж всё ей надоест, Вышивает по картинке Златом-серебром ширинки, Жемчугом их обошьёт Да отцу в подарок шлёт. Зверю ж, чудищу лесному, Словно другу дорогому, Дарит лучшую из них, Всю в узорах золотых. С той поры она, бывало, В разговоры с ним вступала, Как серебряный ручей, Был поток её речей.

От него же слов не слышит: Зверь свои ответы пишет Теми ж буквами в огне На серебряной стене.

Сколько дней так пробежало — Али много, али мало — Сказку скоро рассказать, Дело ж медленно справлять. Обжилася дочь, и скоро От её не скрылось взора, Что недаром зверь лесной Звать её стал госпожой. Неспроста её голубит, А взаправду крепко любит. Захотелось ей хоть раз Услыхать хозяйский глас. Да её мольбе-приказу Покорился зверь не сразу, Но девичьих горьких слёз Все же он не перенёс, Согласившись так иль этак Говорить с ней. Напоследок На стене прочла она Огневые письмена: «В сад приди и сядь в беседке, Где сплелись цветы и ветки, Да скажи: «Друг верный мой, Разговаривай со мной!» В сад бежит она зелёный, И в беседке там плетёной, Где отрадно, как в раю, Опустилась на скамью.

Бьётся сердце у девицы, Как у пойманной у птицы. Говорит: «Друг верный мой, Разговаривай со мной!» Глас раздался необычный, Дикий, хриплый, сиплый, зычный, Хуже, чем звериный рев. И, порядком оробев, Всё ж она не кажет виду, Чтоб не принял он в обиду И её не укорял. Скоро страх её пропал, За беседою занятной Голос зверя неприятный Дочь, как стала привыкать, Так совсем не замечать. Дни за днями коротая, Дочь купцова молодая Часто с этих самых пор С ним вступала в разговор Без испуга и без дрожи. И теперь она дороже Не ценила ничего Речи ласковой его.

Солнце сядет, солнце всходит, Много времени проходит, Скоро сказку рассказать, Дело ж долее справлять. Усладясь его речами, Захотелось ей очами, Поборов свой страх и жуть, На хозяина взглянуть.

Долго зверь не соглашался, Испугать её боялся: Был его ужасный лик До того страшон и дик, Что такую страхолюду Тошно зреть не только люду: Был он обликом своим И зверям невыносим. «Испугаться не пришлось бы! — Молвит зверь. — И этой просьбы, Раскрасавица моя, Не могу исполнить я. К моему привыкла гласу Ты. Считай, с того же часу В дружбе мы с тобой вдвоём И в согласии живём. И меня за все за ласки Ты любила без опаски, А увидишь облик мой — И прогонишь с глаз долой! И умру я смертью лютой Той же самою минутой». А она ему: «Клянусь, Я тебя не убоюсь, Не забыть твоей мне ласки. Покажись мне без опаски. Коли ты и стар, и сед, Будь ты мне любимый дед. Коль ты вида пожилого, Дяди будь взамен родного. А, окажешься ты млад, Будь ты мне названый брат. И, поколь жива я, вечно

Будешь ты мне друг сердечный. Слову девичьему верь!» Отвечает грустно зверь: «Хорошо! Твоей я воле Не могу перечить боле. Как погаснет ал закат. Приходи в зелёный сад И скажи: «Явись, друг верный!» Покажу тебе свой скверный, Безобразный, страшный лик. Будет твой испуг велик! И потом ты, может статься, Не захочешь тут остаться, Увидав моё лицо. Вот тебе моё кольно: Уезжай, коль пожелаешь, Обо мне ж и не узнаешь!» Но, хозяина любя, Дочь купцова на себя Понадеялася прочно. В зеленом саду урочный Дожидаться стала час. День прошёл, закат погас, Густо сумерки свилися. «Друг мой верный, покажися!» — Молвит девица сквозь страх. Показался он в кустах: На руках его не ногти, А торчат кривые когти, Как у беркута клюв-нос, Весь он шерстию зарос, Два клыка во рту раскрытом, На ногах его копыта.

Горб — повыше головы, А глаза, что у совы! При таком ужасном виде, Света Божьего не взвидя, Закричав, в цветочный куст Пала дочь купца без чувств. Долго ль времени, аль мало, Обеспамятев, лежала. Отойдя, с земли встаёт, Слышит, кто-то слёзы льёт: «Я послушался напрасно. Госпоже своей прекрасной Стал противен я теперь, — Говорит печально зверь. — Погубил себя я, видно». Жалко стало ей и стыдно, И она его опять Лик свой страшный показать Умолила, упросила: «Покажися мне, друг милый, Не боюсь я быть с тобой, Страшен был ты лишь впервой!» Зверь ей снова показался, Подойти же опасался, Хоть была она мила И к себе его звала. Но под кровом тёмной ночи С ней гулял он до полночи, Речи ласковые вёл Так, что страх её прошёл. А на утро только встала — Снова зверя увидала Да, чтоб не заметил друг,

Одолела свой испуг.
Стала видеться с ним чаще,
Речь его ей стала слаще,
Без опаски день за днём
Проводила с ним вдвоём.
Почитай, не разлучались,
Вместе яством насыщались,
На него она ничуть
Не боялася взглянуть.
С ним она в лесах каталась,
Питиями прохлаждалась,
Да и часа одного
Не могла быть без него.

Скоро сказка говорится, Дело медленно спорится, Много кануло времён. Как-то ей приснился сон, Что родитель занедужил. Сон покой её нарушил И тоски, и горьких слёз Много ей с собой принёс. Увидав её кручину, Зверь стал спрашивать причину: «Что ты плачешь? Что с тобой?» — «Мой отец лежит больной, Сон недобрый я видала, — Дочь купцова отвечала. — Не видала с давних пор Ни отца я, ни сестёр. Погостить у них хотела, Да просить тебя не смела. Слёзы девичьи прости,

Навестить их отпусти!» — «Коль отец твой тяжко болен, Я держать тебя не волен. Осуши от слёз лицо, Вот тебе моё кольцо, Поезжай к сестрам да к дому, К своему отцу больному. Здесь тебя я не держу. Но запомни, что скажу: Дома будь три дня, не боле. Коль останешься ты доле, Не воротишься в три дня — Не найдёшь в живых меня. Жить мне станет не под силу, От тоски сойду в могилу». Отвечает дочь тотчас: «Я к тебе за целый час До положенного срока Ворочусь в дворец высокий». С другом ласковым простясь, В путь-дорогу снарядясь, Захватив отцу гостинец, Вздев колечко на мизинец, У родимого крыльца Очутилась дочь купца. Дверь раскрывши перед нею, Сёстры бросились на шею К ней. На сестринский наряд Так глаза их и горят. Слуги вкруг неё толпятся, Красоте её дивятся. Дочка в горницу спешит, Где больной отец лежит.

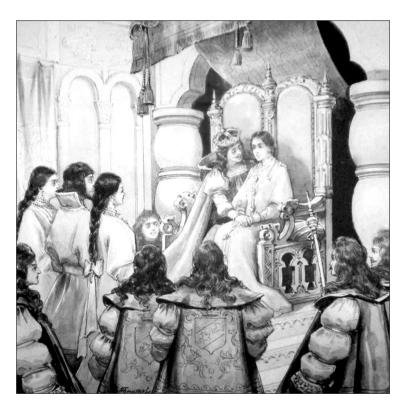
Соскочил купец с кровати, Принял дочь в свои объятья Да от ласковых от слов Сразу сделался здоров. Дочь любимая меньшая Рассказала, не скрывая, Про своё житьё-бытьё: Как голубит зверь её, Как он друг ей и служитель. А купец, её родитель, Слову дочери внимал И никак не понимал, Как она того зверюгу Может видеть без испугу: Он о нём как вспоминал. Инда дрожью и дрожал! И хоть речи дочки мерил, Да ушам своим не верил. Сёстры ж, слушая рассказ, Не спускали с гостьи глаз. По глазам же было видно, Что уж больно им завидно. И давай сестру просить, Чтоб подольше погостить, Обещанья не держаться И совсем у них остаться: Околеет зверь, мол, пусть — Не большая будет грусть! «Нет, сестрицы, на такое Не пойду я дело злое. Злом добро коль отплачу, Так и жить не захочу! — Дочь им меньшая сказала. — Да меня за это мало Диким выкинуть зверям! Как не стыдно, сёстры, вам!» А отец за речь такую Похваляет дочь меньшую. И даёт она зарок: Дома быть не полный срок, А, по данному обету Да отцовскому совету, Положила, чтоб как раз Воротиться ей за час. Было то в обиду сёстрам, Сердцу их ножом был острым Тот зарок меньшой сестры. Вот, лукавы и хитры, Все часы в палатах разом Отвели назад тем часом. И не знал никто из слуг Это дело злых их рук.

Быстро-быстро стрелка ходит, Незаметно день проходит, Вслед за ночкою темной Пробегает день другой. День и ночь, не уставая, Ходит стрелка часовая: Зверем дочке данный срок Уж совсем почти истёк! Час подходит настоящий, И тоски своей щемящей В чутком сердце превозмочь Не смогла меньшая дочь. Стала в путь она сбираться,

Стала с батюшкой прощаться. Сёстры около юлят, Задержать её хотят: «Час ещё с минутой целой!» Но кольцо она надела, Не промолвив ни словца, И у зверева дворца Тем же мигом оказалась. Неприветной показалась Ей немая тишина. И воскликнула она: «Я пришла за час с минутой. Не встречаешь почему ты Во своём земном раю Раскрасавицу свою?» Но от друга дорогого Не слыхать в ответ ни слова, И напал на дочку страх. Тишина царит в садах, Не слыхать в них птичьей трели, В них фонтаны не шумели, Не гляделися лучи В родниковые ключи. Все палаты, сколь их стало, Дочь купцова обежала: Никого — хоть не гляди! Сердце прыгает в груди. В сад бежит она душистый. На бугорчике том мшистом, Где цветочек ал растёт, Верный друг опочиёт. И лежит он, недвижимый, Охватив цветок любимый.

Ни жива и ни мертва, Подошла к нему сперва: Видит: друг лежит, не слышит, И не чует, и не дышит. Очи, знать, не сон смежит: Бездыханен зверь лежит. Крикнув голосом истошным, Дочь купцова пала, точно В сердце раненная лань: «Пробудись, мой милый, встань! Аль тебя я не любила? Подымись, жених мой милый!» — И успела дочь едва Эти вымолвить слова, Тотчас ветром пыль взметнуло, Ярко молния блеснула, В чистом небе голубом Загремел внезапно гром, С неба грянула стрела. Дочь купцова обмерла... Как пришла в себя немного, Видит: чудо! у порога Беломраморных палат Все придворные стоят, А она сидит на троне, Перед ней в златой короне Королевич молодой, Раскрасавец удалой. Он на тронной на ступени Преклонил пред ней колени, В расшивной одет парче, Будто в солнечном луче. Позади же в свите пёстрой

И отец её, и сёстры.
Руку он её берёт
И такую речь ведёт:
«Как ходил я страшным зверем,
Ты меня, попав в мой терем,
За добро да за любовь
Полюбила. Ныне вновь
Полюби меня, девица!
Боле нечего страшиться.
Образ прежний мой забудь
И моей женою будь!
Раз одна колдунья злая,
Отомстить отцу желая,



Унесла средь бела дня Малолетнего меня, Колдовством и зельем разным Сделав зверем безобразным, Чтоб во всех живых сердцах Возбуждал я только страх. И, по слову ведьмы старой, Лишь тогда исчезнут чары, Лишь тогда уже навек Вновь я стану человек, Коль отыщется девица, Что, любя, не устрашится, Несмотря на образ мой, Быть мне верною женой. Тридцать лет я нёс то бремя, Привечал за это время Средь своих лесных границ Я одиннадцать девиц. Всех моё пугало тело, Ни одна не разглядела, Что под шерстью я таю Душу добрую мою. Видно, сердце сердцу мило: Ты одна меня любила Всё сильнее с каждым днём В гадком образе моём. И за это будь, девица, Царства нашего царица. Во дворце живи со мной Милой, доброю женой!» Все словам тем подивились, До земли ей поклонились, И отец, честной купец,

Отпустил их под венец. Тотчас спраздновали свадьбу На всю царскую усадьбу. Я на свадьбе тоже был И с хозяевами пил И вино, и мёд, и пиво. И дивился: что за диво? — По усам вино течёт, А попасть не может в рот!



Дикие лебеди

Где-то далёко-далёко отсюда — Там, куда, стужи не вытерпев лютой Снегом одетых полей, На зиму птицы спешат перелётные, У одного короля, беззаботные, Жили двенадцать детей.

Мальчиков-принцев одиннадцать было, Эльза, сестрица, их крепко любила. Братья любили её Тёплою, нежной любовью сердечною. Вместе они проводили беспечное Раннее детство своё.

Мать их давно умерла, но ни разу Дети ни в чём не знавали отказу, Всё им дарила судьба. Там, высоко, у престола Всевышнего, Видно, была за сироток услышана Матери доброй мольба.

Только не вечно им жизнь улыбалась, Тяжкое горе к ним тихо подкралось, Слёзы принесши и боль. Где и любовь, и заботы, и почести? Скучно отцу жить в своём одиночестве— Снова женился король.

Всё изменилося с новой женою: Ведьмой свирепой, колдуньею злою Та королева была. Стала она волхвовать, приговаривать И на невинных детей наговаривать. Стала им жизнь не мила.

Много пришлось от неё потерпеть им. Мачеха стала выказывать детям Лютую злобу свою. По наговору колдуньи нечистому Первую Эльзу отправили из дому К бедным крестьянам в семью.

Но и того показалось ей мало: Ведьма о принцах выдумывать стала Всякую ложь. Наконец, Даже такие взвалила провинности, Что на детей, их не зная невинности, Начал сердиться отец.

Пользуясь вспышкой отцовского гнева, Поутру к принцам вошла королева, Крикнув им: «Из дому прочь! В дебри летите, кормитесь отбросами, Чёрными птицами став безголосыми, Сгиньте в бездонную ночь!»

Только, хоть сильно того ей желалось, В воронов их обратить не удалось. Дикие лебеди в высь, В ранних лучах золотисто–пунцовую, Через высокие окна дворцовые С жалобным криком взвились.



Землю печальным окинувши взглядом, Низко они пролетели над садом, Где забавлялись не раз, Взмыли над речкой, осокой поросшею, И, покружившись над домом и рощею, Скрылись бесследно из глаз,

Солнышком с высью лазурною слиты. В полдень, над местом глухим и забытым Плавая в нежной сини́, Будто бы силой какой заворо́жены, Там, над избушкой в трущобе заброшенной, Долго носились они.

Словно желая увидеть кого-то, В окна они заглянули, в ворота, Длинные шеи клоня, И огорчённо, в тоске неизреченной Прочь полетели, никем не замечены, Крыльями в небе звеня. В дикой глуши между тем подрастая, Эльза красавица стала такая, Что на земле никогда Между людей таковой не являлось. Благоговейно дивясь, преклонялось Всё перед ней. И когда

Ветер, в своём шаловливом побеге К розам ласкаясь в истоме и неге, Спрашивал в утренний час: «Кто красотою сравнится с плутовками?» Розы шептали, качая головками: «Эльза прекраснее нас!»

Дальше летел он, игривый и шалый. У богомолки убогой и старой, В храме склонившейся ниц Перед Распятьем в молении истовом, Ветхий молитвенник он перелистывал, Роясь средь жёлтых страниц.

Будто смирённый величием были, Спрашивал ветер: «Вещаешь не ты ли Людям Великий Завет? Выше и чище найдётся на свете ли?» «Только лишь Эльза в своей добродетели!» — Чуть шелестело в ответ.

И по селениям и́з дома к дому, От одного пробегая к другому, Полнилась молвью земля, Дань отдавая красавице писаной. Слух о её красоте, всеми признанной, Вскоре достиг короля. К Эльзе любовь пробудилась ли снова? Или раскаянье в сердце отцово Влило живую струю? Только, колдунью не слушая мерзкую, Властью теперь пожелал королевскою Дочь он увидеть свою.

Хоть и боялася ведьма их встречи, Да королю не посмела перечить: Чад её чар, знать, ослаб! Не помогло и волшебное зелие. И королева, уйдя в подземелие, Трёх позвала к себе жаб.

«Завтра, — сказала им ведьма, — я в дальней С Эльзой на озере буду купальне. Спрячьтесь там между камней. Только войдёт она в воду прохладную, Время не тративши, с радостью жадною Быстро плывите вы к ней.

Первая сядет ей на сердце, чтобы Сердце её преисполнилось злобы, Чтобы навеки оно Переменилося той же минутою, Чтобы одною лишь местию лютою Стало бы только полно.

Из-под камней между тем выползая, В волосы пусть ей вопьётся вторая, Чтоб изменились черты, Чтоб безобразной она оказалась, Чтоб навсегда и следа не осталось Дивной её красоты!

Только лишь светлое утро настало, Эльзу колдунья привесть приказала, В воду толкнула её. Тотчас, веленью колдуньи послушные, Злобные чёрные жабы бездушные Бросились все на неё.

Но не сбылось королевы желанье, Не удалось ей её колдованье: Эльза красива, кротка! Гневно глядит королева смущённая: Жабы плывут по воде, обращённые В три голубые цветка!

Ведьма на Эльзе со злобным проклятьем Изорвала и измазала платье, Волосы ей просмоля, Грудь и лицо перемазала тиною, Полная злобной надеждой змеиною В гнев привести короля.

Грозно король покосился очами:
В спутанных космах, в грязи, под тряпьями
Он не признал свою дочь
И, королеву послушавши злобную,
Эльзу в глубокую чащу трущобную
Выгнал безжалостно прочь.

Между кустами по травам ползучим Тихо бредёт она лесом дремучим. Встретила чистый ручей, Смыла всю грязь, что её исковеркала. Чудо: лицо из ручья, как из зеркала, Вновь улыбнулося ей!

Тихо идёт, до земли припадая, Эльзе навстречу старушка седая С парой вязанок больших. К ней обратилася Эльза усталая: «Бабушка милая, ты не видала ли Братьев любимых моих?»

«Нет, моя милая, — та отвечала, — В этом лесу никогда не встречала Я никого из людей. Но над озёр голубыми затонами На головах с золотыми коронами Видела я лебедей.

По лесу прямо ступай ты и скоро Перед собою увидишь озёра. Там посиди, отдохни!» Эльза старушке в ответ улыбнулась, Сердце надеждой в груди встрепенулось: «Это, наверно, они!»

Бе́гом пустилась. Зелёного леса Перед глазами редеет завеса. Озера светлый мазок Чуть голубеет сквозь кружево зелени. Ноги ступают смелей и уверенней В тёплый прибрежный песок, Мягкий, как саван пушистого снега. Там, на опушке у самого брега, Ждать опустилась она. Тихо кругом, лишь камыш чуть шевелится, Да, набегая, к ногам её стелется, Нежно ласкаясь, волна.

Слух чуть баюкает шёпот дубравы. Мхи, и цветы, и прибрежные травы Пряный свой льют аромат. В небе стоят облачка — не подвинутся, А на песке перед Эльзой одиннадцать Перьев лебяжьих лежат.

Эльза у брега с надеждой несмелой День провела в ожидании целый. Только к вечерней заре, С неба слетевши, земли чуть коснувшися, Лебеди, в братьев её обернувшися, Так говорили сестре:

«Злобою к нам воспылав нелюдскою, Мачеха силой своей колдовскою В птиц обратила всех нас. С первою нитью луча золотистою Крыльями синь мы пронзаем лучистую, В небе высоко виясь.

На́ землю лишь пред вечерней зарёю Мы прилетаем. Когда ж за горою Луч золотой догорит, Тьма разольётся по небу безбрежному, Тотчас же мы принимаем по-прежнему Свой человеческий вид.

Плохо, сестрёнка, живётся нам, бедным. Даже приюта на родине нет нам: В крае томимся чужом, Что за морями таится далёкими. Помня о родине, там одинокими Мы лебедями живём.

Связаны вечно с далёким тем краем, Раз лишь в году мы сюда прилетаем Из–за лазурных морей. Здесь, средь лесов и полей нашей родины, Около дома родного проводим мы Только одиннадцать дней.

Всё здесь нам милое, всё нам родное: Поле широкое, царство лесное, Синего озера гладь. Прежнюю жизнь вспоминая привольную, Любим над храмом кружить с колокольнею, Где похоронена мать.

Быстро проносятся дни чередою, Время подходит! На место родное Бросив последний наш взгляд, Полный немою тоскою прощальною, В чуждые страны дорогою дальнею Мы улетаем назад.

По голубому скользя небосводу,
Только лишь небо мы видим да воду,
Изредка тучек гряду.
Чтобы не быть поглощённым пучиною
В час превращения, самые длинные
Два дня нужны нам в году.

На год покинув селенья и храмы Края родного, стремимся туда мы, Где, и тесна, и мала, В водной равнине почти неприметная, Посередине дороги заветная Высится в море скала.

По небу мы белой стаей лебяжьей День весь без отдыха мчимся. Когда же, Зной на прохладу сменя, Небо лучами зардеется алыми, Мы на скалу прилетаем усталыми К вечеру первого дня.

Радостно с высью простившись небесной, Мы на скале размещаемся тесной В блеске последних лучей. Слушая песнь океана нестройную, Там и проводим мы ночь беспокойную, Преобразившись в людей.

Часто бывает, что, дико взыграя, На море буря поднимется злая, Брызги взлетают дождём, Молнии в волны вонзаются чёрные. Мы не страшимся и наши покорные Богу молитвы несём.

Солнышко, путь совершив свой далёкий, Новой зарёй просияв на востоке, Стонит холодную ночь, Мрак пронизавши лучистыми стрелами, — Мы, обернувшись вновь птицами белыми, Снова уносимся прочь.

Срок наш почти уж окончен, и вскоре Мы улетаем обратно за море В дальнюю нашу страну. Злою судьбой суждено, как и ранее, Год бесконечный провесть нам в изгнании, Как в ненавистном плену».

Эльза, взглянувши на братьев глазами, Полными скорбью, тоской и слезами, К ним обратилась с мольбой: «В эту страну и меня, мои милые, Лебеди–братья мои белокрылые, Вы унесите с собой!»

Ночь промелькнула для них незаметно, Небо и дол озарились приветно Утренних красок игрой. Сумрак рассеялся дымкою тающей, Лебеди стаей взвилися сверкающей, Младший остался с сестрой.

Куполом скрыт густолиственной сени, Голову он положил на колени К милой сестре. И его Горе своей она лаской изгладила, И без конца целовала и гладила Белые крылья его.

Вот уже, ночи грядущей предтеча, Тихо на землю спускается вечер, В пурпур и злато одет. Словно гонимая силою вражьею, С неба вечернего стая лебяжия Быстро слетает вослед.



Только в людей превратившися снова, Грустное молвят сестре они слово: «Край покидая родной, Нет нам которого в мире желаннее, Завтра за море далёкое с раннею Мы улетаем зарёй.

Времени нам остаётся немного, Наша трудна и опасна дорога! Если ты хочешь лететь, Этой короткою ночкою летнею, Нашей на родине ночкой последнею, Будем плести тебе сеть».

Эльза ответила: «Милые братцы, Здесь не хочу я одна оставаться, Жить от любимых вдали. С вами делю я судьбу вашу злобную!» Ночь проработав, они ей удобную Крепкую сетку сплели.

Светлой полоской румяная зорька Позолотила восток. И лишь только С неба, окрасивши высь, Бросила наземь дорожку блестящую — Дикие лебеди с Эльзою спящею Прочь от земли понеслись.

Эльза проснулась. Глубо́ко под нею, Словно сквозь лёгкую дымку, синеет Гладь бесконечной воды. Рядом с зелёною сорванной веткою Младшим из братьев положены в сетку ей Сочные леса плоды.

Лебеди-братья всё дале и дале Мчатся вперёд в бесконечные дали, Всё ускоряя полёт. Жарко над стаей горя лебединою, Солнечный шар голубою равниною Тихо на полдень плывёт.

Зной удушает, и давит, и пышет! Младший из братьев, поднявшись всех выше, Взмахом заботливым крыл, Белым в лазури простёршися облаком, Будто прохладным сверкающим пологом, Эльзу от солнца закрыл.

Вот, ветерком неприметным гонимо, Белое облако движется мимо, В небе скользя голубом, В солнце купаясь краями нарядными. Лебеди с Эльзой тенями громадными Вдруг отразились на нём.

Дальше несутся они небесами. Быстро проходят часы за часами, Встал предвечерний туман. Сзади, вещая беду неминучую, Небо свинцовой оделося тучею, Снизу бурлит океан.

Меркнут на небе лучи, угасая, Рвётся вперёд лебединая стая, Ноша полёт тяжелит. А за усталыми белыми птицами Туча тревожными блещет зарницами, Тяжким раскатом гремит.

Эльза, летя над пучиной морскою, Смотрит с тревогою, смотрит с тоскою: Близок вечерний закат! Братья её в истомлённом усилии Машут испуганно сильными крыльями, К острову в море спешат. Тихо над крыльями младшего брата Луч угасает последний заката, Туч золотится карниз. Близится миг роковой превращения. Дикие лебеди в то же мгновение Камнем бросаются вниз.

Только желанной достигнули цели И на скалу одинокую сели, Близко друг к другу теснясь, В тихом луча догоревшего трепете Словно растаяли дикие лебеди, Снова в людей превратясь.

Буря ревёт. Беспрестанно перуны Мечут стрела́ми в седые буруны, Рушатся с шумом валы. Грозно, где Эльза укрылася с братьями, Море, ярясь, ледяными объятьями Сжало подножье скалы.

Только к утру улеглась непогода. Час недалёк золотого восхода, Волны отходят, ворча. Лебеди белые, лебеди нежные С Эльзой уносятся в выси безбрежные С проблеском первым луча.

Как продолженье вчерашней картины, Сине-зелёную скатерть равнины Стелет внизу океан. Вкруг них от самого солнца сходящею Голубоватой лазурью сквозящею Неба шатёр осиян. Вот куполами и вышками башен Вправо от них небосклон разукрашен, Тенью зубчатой стена Город кругом стережёт заколдованный. Эльза спросила, взглянув зачарованно: «Это ли ваша страна?» —

«Эти туманом рождённые страны — Царство волшебное Фата Морганы! Лучше вперёд погляди: Злым колдовством нам страну указанную Там, на востоке, за далью туманною Скоро узришь впереди».

И над морскими волнами седыми Мчатся туда они, где перед ними Очерк далёких брегов, Солнцем средь моря лазурного вызлочен, К небу возносится контуром призрачным Дымчато-сизых лесов.

Тёмной громадой из моря вставая, Берег уже недалёкого края Словно навстречу летит. Видно уже, как, вставая над кручами, Кедры корнями своими могучими В крепкий впилися гранит.

Там, где дубы и мохнатые ели, Сучья, как лапы, расставив, одели Тенью своею густой Кручу скалы, неприветливо серую, Над живописной просторной пещерою Лебеди сели с сестрой. «В здешнем краю, для тебя незнакомом, Эта пещера и служит нам домом, — Эльзе они говорят. — Здесь, среди скал величавой безгласности, Нас укрывает от всякой опасности Леса зелёный наряд».

Вечер спустился по скалам унылым. В лес удалились все братья, лишь был им Образ людской возвращён, Чтоб пропитанье промыслить охотою. Эльзе ж, объятой глубокой дремотою, Дивный пригрезился сон:

Зыблясь в одежде из нитей тумана, Входит в пещеру к ней Фата Моргана, Света струя полосу, Неуловимо и странно похожая Добрым лицом на старушку прохожую, Что повстречалась в лесу.

Низко склонившись к её изголовью, Молвит она с материнской любовью: «Эльза! Известно давно Всё мне, к чему твои мысли прикованы. Братьев избавить твоих заколдованных Средство я знаю одно.

Трудно оно. И без края, без меры Нужно любви, и надежды, и веры, Много терпенья и сил, Душу белее, чем чашечка лилии! Всем этим, Эльза, тебя в изобилии Щедрый Господь наградил. Здесь, за пещерой, у края обрыва Густо в лесу разрослася крапива. Завтра, поднявшись с зарёй, Молча должна её стебли колючие, Страшную боль подавив в себе жгучую, Голой нарвать ты рукой.

Стебель, на пряжу ногами измятый, В холст обрати. И рубашки должна ты Лебедям сшить из холста. Но до работы твоей окончания Ненарушимым обетом молчания Ты запечатай уста,

Муку иначе воспримешь ты даром. Помни всегда, что смертельным ударом, Стуком кладбищенских плит, Братьев закончив страдание дольное, Вольное слово иль слово невольное В сердце у них прозвучит.

Вот это средство. Запомни, однако: Можешь ты прясть из крапивы не всякой. Для чудодейственных сил Только лишь эта годится да та ещё, Что в городах и селеньях на кладбищах Буйно растёт вкруг могил.

Если твоё непреклонно желанье, Если ты можешь снести испытанье, — Веруй, надейся и тки!» Сердце наполнив надеждой счастливою, Фея исчезла, лишь больно крапивою Нежной коснулась руки.



Эльза проснулась в тревожном сомненье: Что это было: сон или виденье? Но, обещанья залог, Душу лаская волшебною грёзою, Здесь, на руке её, алою розою Жгучий пылает ожог.

Утром, на подвиг тяжёлый готова, Встала она, не сказавши ни слова, Молча пошла на обрыв. Помня своё сновидение дивное, Долго рвала она стебли крапивные, Руки себе опалив.

В полдень в пещеру вернувшися с ними, Их истоптала ногами босыми. К вечеру в холст соткано Было для первой рубашки спасительной После тяжёлой работы мучительной Жёсткое их волокно.

С неба с последним лучом догоревшим, Лебеди, снова на землю слетевши, В страхе увидели вдруг Стебли крапивы, в пещере сложённые, А у их милой сестры обнажённые Язвы истерзанных рук.

Только молчание вместо ответа! Эльза в безмолвную тайну одета. «Нет, это, знать, неспроста! Может быть, силой, колдунье подвластною, Эльза, подобно нам, стала безгласною Жертвой её колдовства?»

Но в глубине её кроткого взора Столько надежды сияло, что скоро Братья, глубоко скорбя, Поняли, что лишь для их же спасения Непостижимой работы мучение Эльза взяла на себя.

С этого дня в дождь ли, в бурю ль к обрыву Эльза идёт и срывает крапиву, Веря сильней и сильней В близость конца с возрастающей жаждою: С сотканной новой холстиною каждою Братьев спасти поскорей.

Раз на заре, как всегда, молчалива, Эльза, ожоги снося терпеливо, Рва́ла крапиву, как вдруг, Эхом повто́ренный, медью звенящею Громко раздался за ближней чащею Рога призывного звук.

Нехотя Эльза, оставив работу, Слыша, что близко несётся охота, Тишь нарушая лесов Криками, звоном рогов переливчатым, Топотом, ржаньем коней да заливчатым Лаем охотничьих псов,

Грустно в пещеру вернулась. Но скоро Перед пещерой собра́лась вся свора. В несколько кратких минут Лихо на взмыленных ко́нях норовчатых Следом за ней прискакали и ловчие, Эльзы открывши приют.

В недоумении много народа, Псов отогнав от пещерного входа, Смотрят, столпившись извне. И по кустами, по заросшим продолинам Юный король подъезжает на хо́леном Белом, как снег, скакуне.

Тотчас ловцы ему дали дорогу. К тёмной пещеры приблизясь порогу, Смотрит король в полутьму, Как заворо́жен чудесным видением. Эльза покорно с тревожным сомнением Вышла навстречу к нему.

«Кто ты? — воскликнул король, отступая, — Кто ты, прекрасная сказка лесная? Молви, дитя, отчего ж Здесь, от людей и от дома отринутой, В этой глубокой пещере покинутой Ты одиноко живёшь?

Девушка, дикому зверю на травлю В этой глуши я тебя не оставлю, В шёлк обряжу и багрец. Беды твои возместятся сторицею! Ныне ж с тобой возвращуся в столицу я В мой королевский дворец!»

Эльза, в ответ покачав головою, Мыслью о братьях полна лишь одною, Пала к ногам короля, Из лесу в замок не брать её, бедную, Дав ей исполнить работу заветную, Взором безмолвно моля.



Он же, моленью её не внимая, Верно, подумал, что Эльза— немая. Ей улыбаясь светло, Тронут её бессловесной кручиною, Не разлучаться позволил с холстиною, Поднял к себе на седло И, окруженный богатою свитой, Дебри покинул дорогой открытой, Ехал к дворцу, торопясь. А, с поднебесья спустившись безбоязно, Над головой королевского поезда Стая лебяжья неслась.

Вот и столицы разубранной стогны, Флаги одели балконы и окна. Толпы большие людей, Въезд короля встретив кликами дружными, Машут платками вдоль улиц запружённых И городских площадей.

И, по широкой дворцовой дороге К замку подъехав, в златые чертоги Эльзу король за собой Между склонившими главы придворными Ввёл чрез дворцовые залы просторные В ей отведённый покой.

Но недовольно по зале дворцовой, Хмуро шагает епископ суровый. «А для кого же — вопрос — Ею рубашки крапивные пошиты? Ведьма она! Ну, король, для чего же ты Ведьму из леса привёз?»

«Слушай, епископ, уж ты не погневай! В скорости станет она королевой. Как неземную мечту, За красоту, за глаза её кроткие Я полюбил во мгновенья короткие Чудную девушку ту!»

«Не увлекайся опасной мечтою: Днём только блещет она красотою, Вся обаянья полна! В полночь же, сделавшись ведьмою-бабищей, На городском промышляет на кладбище Кости усопших она.

Бьюсь об заклад, что ближайшей же ночью В этом ты сам убедишься воочью! Нужно её подстеречь И всенародно тогда нечестивую По твоему приказанью с крапивою Вместе на площади сжечь!»

Эльза же, холст разложив по палате, Видя, что ей для рубашки не хватит Много ещё волокна, Шила, покуда небесного купола Медленно тёмная ночь не окутала, К нише приникнув окна.

В полночь, свои оставляя покои, Дверь отворила несмелой рукою Эльза. Бояся дохнуть, В тёмную злую погоду ненастную, По́лна одною надеждою страстною, К кладбищу держит свой путь.

В сумраке ночи за Эльзою близко Сзади крадутся король и епископ Вплоть до кладбищенских врат. Там, притаясь за могильными плитами, Страшные ведьмы глазами сердитыми Злобно за нею следят. Крест свой к груди прижимая рукою, Узкою Эльза проходит тропою, Капают слёзы из глаз. Больно себя обжигая крапивою, Низко склонившись, рукой торопливою Делает новый запас.

Вдоль по могилам, крапивой одетым. Только уже перед самым рассветом, Свой драгоценнейший клад К гру́ди прижавши, дорогой обратною, Участь ещё не предвидя превратную, Эльза вернулась назад.

В чарах её колдовских убеждённый, Горько заплакал король огорчённый И произнёс приговор: «Завтра, лишь солнце поднимется красное, Надо немедля как ведьму опасную Эльзу взвести на костёр!»

Тотчас в тюрьму отвела её стража, Бросив за нею холстины и пряжу. Эльза в последний свой день Шила рубашки с покорностью кроткою, Взором ловя за тюремной решёткою Крыльев знакомую тень.

По́лна одною и той же заботой, Ночь провела она всю за работой, Свой выполняя обет До той поры, как в окно её узкое, Тьму прогоняя, полоскою тусклою Ранний забрезжил рассвет. Перед зарёй неизвестно откуда С криком толпа незнакомого люда, К замка приблизясь вратам, Дверь им открыть умоляла привратника. Тотчас, бряцая оружием, латники Бросились смело к дверям.

Смотрит кругом удивлённая стража: «Где ж эти люди? Девались куда же?» Нет никого у ворот, Сон короля потревожить посмевшего. Только в сиянии солнца взошедшего Стая лебяжья плывёт!

Утром открылись ворота темницы, Эльзу в позорной везёт колеснице Пара заморенных кляч. Идут, с руками крест накрест сложёнными, Иноки, головы скрыв капюшонами, Сзади шагает палач.

Крикам толпы не внимая ужасным, К участи страшной своей безучастна, Эльза, поднявши свой взгляд, Видит, как синь разрезая лазурную Взмахами крыл, над толпой многолюдною Лебеди низко кружат

И, упадая сверкнувшею тенью, К Эльзе метнулись, подобно виденью, Сев на телегу вокруг, Перед толпами людей онемельми Мигом телами и крыльями белыми В тесный замкнув её круг. Перекрестившись, спокойно и смело Эльза рубашки на братьев надела. Пред поражённой толпой, Жертвы телегу кольцом окружавшею, Принцы предстали, внезапно принявшие Вид человеческий свой,

Плен колдовства победившие тяжкий. Только рукав для последней рубашки Время соткать не дало. И, словно тень волхвования спадшего, Вместо руки лишь у брата у младшего Плещет лебяжье крыло.

Тотчас, небесному грому подобно: «Это не ведьма! Она невиновна!» — С тысяч сорвалося уст. И в отдаленье костёр ожидающий Вдруг превратился в большой расцветающий Белыми розами куст!

Вместо эпилога

К цели прибывши, Пегас колченогий, Насмерть уставши от долгой дороги, Издал трагический вздох. Крылья повиснули мокрою тряпочкой, Дрыгнул бедняжка последний раз лапочкой, Сдох!

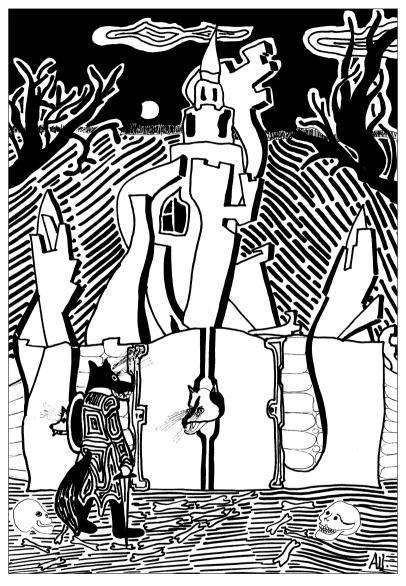
Легенда Волчьего замка

Из мистико-фантастической повести «Волк»

Страшен горлинке ястреб на небе, Раба-кит в морях — мелкой рыбице, Страшен лютый волк стаду овчему. Но страшнее для люда крещёного Чародей Товтобу́рг нечестивейший, Что в густом лесу во дремучием Замок каменный себе выстроил, Окружил-обнёс стеною крепкою, По углам её вывел башенки, На вратах прибил волчью голову И назвал его замком Волчиим. Не один Товтобург приютился в нём: С ним живёт его мать, ведьма старая. Ходит ведьма, вся в чёрном одетая, Как зловещая мышь летучая. День и ночь Товтобург бродит по лесу, Весь зашитый в шкуру звериную, Насадив на шелом волчью голову. А другая с щита его крепкого На весь Божий мир грозно скалится. То не ветер-ревун гудит по лесу, Не сычи во трущобе загукали, Не в аду завыли души грешников — То колдун Товтобург воем волчиим Созывает дружину бесовскую! И ползут к нему из кустов, из мхов Всё такие ж, как он сам, страшилища, Все, как он сам, волками наряжены. На ночной ведёт он их промысел, На разбой-грабёж по селениям.

Поутру домой возвращаются, Все тяжёлой добычей нагружены, А за спинами их плещет зарево От зажжённого ими пожарища. Плачет мать над ребёнком зарезанным, Муж над мёртвой женой убивается, Пастухи — над пропавшей скотиною. Собирались не раз вместе рыцари, Чьи стада Товтобург поразграбливал, И клялись они страшною клятвою Разнести его замок по камушкам, Самого же повесить на дереве. Собирали они силу ратную, Становили стан у стен каменных И хотели взять замок приступом. Целый день мастерили лестницы, Из больших дерев туры строили, А как за лесом солнце спряталось, Как сгущались кругом тени-сумерки И луна восходила на небо, На зубчатой стене замка Волчьего Появлялась вдруг ведьма старая, Вся закутана чёрным саваном. Простирала она руки длинные К осаждающим замок воинам И грозила им смертью скорою: «Всем, как есть, быть

загрызенным волками, Всем у замка полечь до единого, Всем оставить здесь косточки белые На съедение зверю хищному, А глаза свои — чёрным воронам!» Начинала колдунья приплясывать



И смеяться зловещим хохотом, И махала она чёрным саваном, Словно крыльями мышь летучая, И скрывалась вдруг, как и не́ была.

Леденил мороз спины воинов, Торопилась рука крестным знаменьем, А уста святою молитвою Отогнать от себя чары ведьмины. А как только стан осаждающих Сон спокойный и крепкий окутывал И одна только стража бессонная Меж собою в ночи прекликалася, Появлялись в лесу тени жуткие, Выползали из трав и из кустиков, Из-за тёмных стволов выглядывали. На шеломах-то волчьи головы, А в руках-то мечи булатные. Где в траве скользнут вёрткой змейкою, Где лисою шмыгнут за дерево, Где прильнут ко стволу корявому, И всё ближе к шатрам подбираются. Вот завыл Товтобург воем волчиим, Отовсюду ему ответили, И пошла резня тут кровавая. Потешаются волки над спящими, Никому пощады не даруют. На стене ж опять ведьма старая Вдруг невесть отколь появляется И костлявыми сыну пальцами, Если спрятался кто, показывает... Как всходило с утра солнце красное, Озаряло оно рать побитую. И у всех-то горло перерезано, Будто волчьими зубами перегрызено. И белели кругом кости по лесу, Ставши снедию зверю хищному, А глаза убиенных ратников

Доставалися чёрным воронам. И велик был страх замка Волчьего, Уж никто не смел подойти к нему! Но послал Господь одоление На бесовскую рать Товтобургову, Победил колдовство его матери.

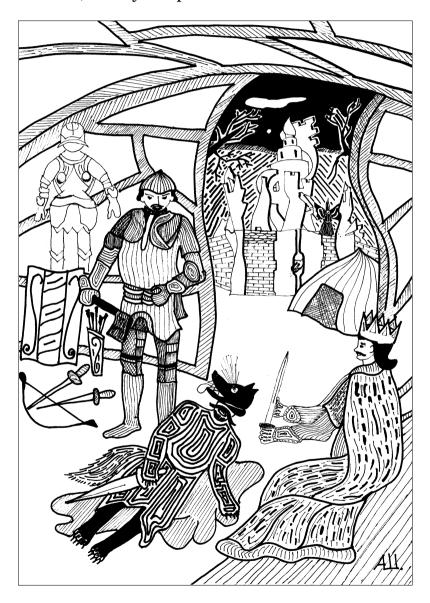
Как не смели уже больше рыцари Разорить его волчье логово, Сам Миндовк-король с верной ратию, Благодать испросив у епископа, Пожелал идти к замку Волчьему. И епископ дать обещал ему От себя дружину могучую. Ждёт-пождёт Миндовк обещания, Всё дружина никак не сбирается. И решил без дружины обещанной Со своей он ратью отправиться. А стремянного своего Ба́льдура Оставляет он у епископа С королевским своим приказанием: «Как сберётся дружина хоробрая, Так веди её по моим следам Ко проклятому замку бесовскому, Да смотри у меня, не опаздывай!» Как ушёл Миндовк, тут же вскорости Собралась и дружина епископа, И повёл её Бальдур, не мешкая, За Миндовковой ратью ушедшею, Догоняли её целу се́дмицу. Перед ночью в селенье проведали, Что король ушёл отсель засветло Обложить Товтобургово логово,

Что стоит в лесу непода́леку.
Бальдур мешкать не стал в селении,
Короля не забыв приказание,
И повёл он рать на ночь глядючи
Сквозь дремучий лес ко Миндовку в стан.
А король с утра, придя к логову,
Окружил его стражей зоркою
И готовить велел снасти к приступу.

Много за день таранов настроили, Чтоб пробить ворота железные, Понаделали длинные лестницы, Чтобы легче на стены карабкаться. Вот уж клонится солнце к вечеру, Поползли от дерев тени длинные, Потянулись от трав и от веточек, По густым кустам заклубилися. Ждёт-пождёт Миндовк — нет всё Бальдура , А уж солнце и вовсе спряталось, И заснувший лес ночь окутала, Из-за тёмных вершин месяц выглянул. Глядь, стоит на стене ведьма страшная, Чёрным саваном вся одетая, Королю грозит смертью скорою Со всей ратью его великою: «Всем, как есть, быть загрызенным волками, Всем у замка полечь до единого, Всем оставить косточки белые На съедение зверю хищному, А глаза свои — чёрным воронам!» И пустилась колдунья приплясывать, И смеялась зловещим хохотом, И махала она чёрным саваном,

Словно крыльями мышь летучая, И пропала вдруг, словно сгинула! Оробел король и всё воинство, Уж никто не рад, что пришёл сюда. И решил король с зарёй утренней Снять осаду с бесовского логова, И пошёл ко шатру королевскому, И уснул, помолившись Создателю. Улеглись и заснули все ратники, У костров только стража бессонная Глаз не сводит своих со стен замковых. Только вдруг за старинными буками Показались волчиные головы, Заметались тенями неслышными, Ко шатру короля приближаючись. Вот и стража уже королевская Под мечами безмолвно падает. Издаёт Товтобург свой волчиный вой, Резать спящих вся шайка бросается. Пробудился король, видит в ужасе, Как над ним с мечом окровавленным Наклонилось и смотрит чудовище. Человек ли то или зверь лесной, Не понять Миндовку спросония. Видит голову он волчиную, А под нею мужскую будто бы. Тут слова он слышит человечии: «Ну, прощайся, король, с своей душенькой!» И взмахнул Товтобург мечом вострыим, А король со страху зажмурился, Ожидая удара смертельного. Опустить свой меч не успел злодей: Сам он замертво наземь валится.

Тут Миндовк-король видит Бальдура, Что стоит пред ним с топором в руке, А у ног его то чудовище В целой луже крови валяется.



С ложа встал Миндовк королевского, Обнимал-целовал он стремянного И своим его звал спасителем. «Вечно б спать тебе, — Бальдур вымолвил, — Не приди я теперь к тебе вовремя! Все злодеи твои порублены, Нету больше у замка защитников. Завтра поутру с первой зорькою Разнесём весь замок по камушкам!» И пошёл Миндовк вместе с Бальдуром Из шатра своего златотканого Посмотреть на дружину хоробрую, Что побила всю рать Товтобугову. За порог шатра чуть ступил король, Так со страху назад и попятился: На стене стоит ведьма чёрная, Лунным светом холодным залитая. Воет ведьма, присевши на корточки, К королю крючковатыми пальцами Со стены, будто ко́гтями, тянется. Схоронился король за палаткою, Но вперёд богатырь Бальдур выступил, Подставлял он кленовую лестницу, Да влезал он на стену высокую, И хватал он руками могучими, Сзади к ней подойдя, ведьму чёрную, И вязал её своим поясом. И сносил к шатру королевскому, И к ногам её клал к Миндовковым Рядом с сыном на кровь его тёмную. А Миндовк, как от страха оправился, Ухватил тут за руку стремянного И такие слова ему вымолвил:

«За твои за великие подвиги
Пусть отныне твой род называется
Короля Миндовка спасителем.
И бароном тебя я пожалую!
Делай сам, что захочешь, ты с ведьмою,
Я же завтра велю всему воинству
Снять осаду от замка бесовского
И пойду назад ко епископу.
Не хочу мараться я нечистью!
Ты ж, коль хочешь, с дружиной отважною
Оставайся у замка проклятого.
Одолеешь коль силу нечистую,
Так тебе этот замок пожалую».

Как сказал король, так и сделалось: Поутру он ушёл с верной ратию, Окружив себя зоркой стражею. А как шёл, так назад всё поглядывал Да скорее идти поторапливал. И как скрылася рать королевская, Бальдур к стенам подставил лестницы, И влезал со своею дружиною Он на башни и стены высокие. А со стен они вниз все попрыгали, Отворяли ворота железные И нигде супостата не встретили. Так попал весь дом в руки Бальдура. Приказал он привесть ведьму старую, Что у дуба стояла привязана, И пытал её: «Где попрятались Все защитники замка взятого?» Ведьма только в ответ ухмыльнулася, Ни словечка ему не промолвила.

Порешил Бальдур сжечь нечистую, Приказал он костёр сложить воинам, Рядом столб зарыть с перекладиной И к тому столбу привязать её. А когда всё уж было исполнено, Показались в костре змеи пламени И кусать её ноги начали, Завопила она страшным голосом: «Ну, вступай, Бальдур, ты во владение Этим замком, Миндовком подаренным! Но не знать тебе в замке радости, Не уйти живым из имения: Ни продать его, ни избавиться, Ни хоть раз за порог его выступить! Обернусь я огромной волчицею, За тобой буду бегать, невидима. А как только захочешь ты выехать, Появлюсь пред тобой в волчьем образе И глазами смотреть буду мёртвыми, И на горло тебе я наброшуся, И сама загрызу тебя до смерти! Как упьюсь я твоею кровушкой, Упокоятся тут мои косточки, Но зато ты сам в волчьем образе Замку этому станешь сторожем И покой себе не найдёшь в гробу До тех пор, пока сыну ли, внуку ли Не порвёшь и ты горло белое, И отдашь ему шкуру волчию, И взамен себя волком сделаешь! Так из рода в род до конца веков Этот замок тюрьмою каменной Будет ваше хранить проклятие!

Пусть лежит в гробу волк невидимый, А живёт мертвец, им загрызенный, В его образе нарисованном И очами глядит с него волчьими! До тех пор с вас проклятье не снимется, Пока род твой, замком владеющий, Не отдаст его вновь моим правнукам!» Оборвались слова её страшные, Дым и пламя колдунью окутали, И за треском огня не расслышали, Что ещё волховала проклятая. Но сбылось, что колдунья накликала: Перегрызено горло у Бальдура, Как собрался он замок покинути, Неживою огромной волчицею! И взирает портрет нарисованный Со высокой стены залы замковой Неживыми очами волчиными На сынка своего малолетнего, Что беспечно играет по комнатам! Много времени уж миновалося, В силе злобной колдуньи проклятие, И доныне не может род Бальдура Стены Волчьего замка оставити!

Примечание: по сюжету повести «Волк» всех владельцев Вольфеншлосса (Волчьего замка) с XIII века по 1639 год постигла участь Бальдура. Около 300 лет мистическим волком был Гуго Кёнигсреттер: его потомки под страхом смерти имения не покидали, хотя о легенде замка не знали. В середине XX века от волчьих клыков погиб вступивший во владение замком Отто, пытавшийся раскрыть тайну мистического волка. Его жена Инна с помощью друзей узнала о легенде Вольфеншлосса и берегла своего сына Олега до совершеннолетия. Вместе с ним воспитывалась девочка Катя, найденная младенцем неподалёку от замка в руках её замёрзшей в пургу матери. Всё кончилось благополучно: Катя, по счастливой случайности, оказалась дальним потомком проклявшей замок ведьмы, Олег влюбился в неё и в день помолвки, не зная о проклятии, подарил ей замок. Проклятье навсегда потеряло силу, и волчьи глаза исчезли с портрета Отто Кёнигсреттера.

Одним махом семерых побивахом

Сказка-пародия

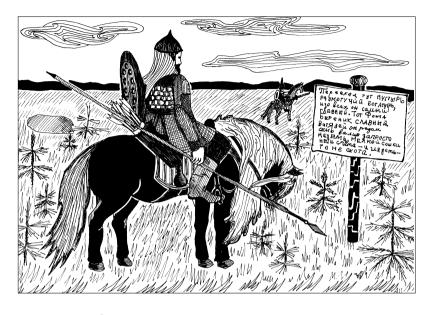
У околицы села Бабка старая жила Ни чтоб тихо, ни чтоб громко. Был у ней сынишка Фомка — Ростом вроде как пенёк — Неказистый паренёк! Месит дома бабка квашню, А сынок пошёл на пашню, Ездит, землю бороня, Да нукает на коня. А конька обсели мухи, На спине сидят, на брюхе! «Ну, постой! Фома-то вас Упокоит, мымры, враз!» — И зелёною вешиной Стеганул он рой мушиный. Оттого с коня наземь Оводов свалилось семь. С оводами ж Фомка вместе Мошкары побил штук двести. Стал Фома, разинул рот Да побитых не сочтёт. Как ему и счесть такому! Вот пошёл Фома до дому, Молвит матке: «Слышь ты, мать, Отпущай витязевать. Быть хочу по ратной части!» А у старенькой со страсти Ручки-ножки затряслись:



«Что ты, Фомушка, окстись! Что ты ладишь, непутёвый? Знай, сидел бы под панёвой, Не удалей ты крота — И смотреть-то срамота. Да тебя наш рябый кочет Заклюёт, коли захочет! Дурью ты затею брось!» Отвечает сын: «Небось, Я, чай, в поле не обсевок, Не схоронимся за девок. Всю на свете татарву Я зубами изорву! Там уж ладно ль али худо ль, А явить желаю удаль, Не спужаюсь никого! Да и хана самого Съест с сметаной, как вареник, Богатырь Фома Беренник!» Вот со скотного двора Взял он чалого одра, Срезал с клёна хворостину — Боронить от мух скотину, Сунул в су́му каравай: «Ну, мамаша, прощевай!»

В чистом поле ветер свищет, Дикий зверь по полю рыщет, С голодухи лют и зол... Глядь, стоит на поле кол. Фомка-дурень первым делом На колу кропает мелом: «Переехал тут пустырь Размогучий богатырь, Изо всех он самый главный Тот Фома Беренник славный. Витязей он разом семь Валит запросто наземь, Мелкой сошке нет и счёта — И глядеть-то неохота!» Написав, как лапой грач, От кола поехал вскачь.

Через малу время долю По тому ж поехал полю Славный Муромец Илья, Аж гудит под ним земля! Конь Илюхин — что стату́я, Объезжает Русь Святую, Ну, а сам — скалой–скала! — Доезжает до кола.



Стал Илья над этим местом: «Кол, кажись-то, с манифестом... Переехал тут пустырь Размогучий богатырь, Изо всех он самый главный Тот Фома Беренник славный. Витязей он разом семь Валит запросто наземь, Мелкой сошке нет и счёта — И глядеть-то неохота!.. Вишь, какой сурьёзный гусь Залетел на нашу Русь! Чтой-то мне такой неведом!» И погнал за Фомкой следом. Жеребца как подстегал, Тут и Фомку настигал. Видит он, что Фомкин чалый Растопырил хвост мочалой

Да жуёт себе бурьян. «Ведь, кажись бы, я не пьян, — Говорит Илья, смекая, — Где ж в нём силища такая? Прямо, скажем, конь — одёр... Да, должно, он сам востёр! Видно, надо для почину Величать его по чину... Бог на помощь, лёгкий путь, Здрав, Фома Беренник, будь! Дело, слышь, мы справим ладом, Коль с тобой поедем рядом Да за Русь в одной сечи Повострим свои мечи!» — «А не много ль будет чести Со Фомою ехать вместе? Хоть тебе, Илья, я рад, Всё ж ты мне молодший брат. А того ты дела ради Погоняй маленько сзади».

Вот Илья с Фомой сам-друг Поскакали через луг. Дальше поле — что пустыня. Доезжает их Добрыня: «Обознался, что ли, я? Позади, никак, Илья! Да чего ж ты, дьявол лысый, За такою едешь крысой? Он с одра слетит, лишь ткни!» — «Цыц, Добрынюшка, нишкни! То Фома Беренник славный, Богатырь-то самый главный!

Витязей он разом семь Валит запросто наземь, Мелкой сошке нет и счёта — И глядеть—то неохота. Конь, кажись бы, и одёр, Да зато он сам востёр! Коли Муромцу Илюхе Ехать сзади нет порухи, Так тебе, Никитич, тож. Погоняй за мной, коль хошь».

Полем, лесом да оврагом Друг за дружкой едут шагом. Лишь отъехали чуток, Богатырский слышат скок: Их Попович тут Алёша Доезжает: «Это что же? Впереди трусит чужак, А за ним Илья, никак. Сзади, надо быть, Добрыня! Видно, пугало-то ныне Вы пустили наперёд, Чтоб стращать честной народ!» Побурел Добрыня ажно: «Ну, чего понёс ты, блажный? Замолчи ты, зубоскал, Аль о нём ты не слыхал? То Фома Беренник славный, Богатырь-то самый главный! Витязей он разом семь Валит запросто наземь, Мелкой сошке нет и счёта — И глядеть-то неохота.

Сила, вишь ты, не в одре, А в самом богатыре! Со Ильёй нам коли скоро Ехать сзади нет зазора, Так тебе, Алёша, тож. Погоняй за мной, коль хошь».

Степью, лесом да опушкой Поскакали друг за дружкой, Становилися у врат. За вратами — Киев-град. Витязей Владимир-Солнце Заприметил из оконца. Кунью шубу скинув с плеч, Побежал он им навстречь Со княжною да с княгиней: «Глянь, никак Илья с Добрыней, Да ещё Алёша-млад Прискакали в Киев-град. Вот уж праздник настоящий! Ну, а этот вон, лядящий, Кто ж, Алёша, он такой?» — «Это наш собрат старшой, То Фома Беренник славный, Богатырь-то самый главный. Витязей он разом семь Валит запросто наземь, Мелкой сошке нет и счёта — И глядеть-то неохота. Конь хоть крыса, сам хоть мал, Да куда же, как удал!» Почестив приезжих в меру, Отпускали на фатеру.



Улеглись богатыри Да проспали до зари. Утром — не было напасти! — За Днепром татар до страсти! Всякий праздный ротозей По домам бежит скорей. Нет ни шуму, нет ни давки, Заперлись дворы да лавки, По домишкам млад и стар Затворились от татар. Город Киев ровно вымер. Испужался Володимир Да от чёрного крыльца Посылал к Фоме мальца: «Выручай, Фома хоробрый, Посчитай татарам рёбра, За Днепром собралась рать Город Киев воевать!

Подави татар, как гниду, Христиан не дай в обиду! Изничтожить енту мразь Володимир просит князь!» — «Пусть бывает князь покоен: Как я есть геройский воин, Изничтожу разом всех! Да пока мне, чай, не спех». Ближе недруг — дело плоше. Говорит Фома Алёше: «Порубись взамен меня». Сел Алёша на коня. Полетел, как ясный сокол, Лишь копытами зацокал. Только слышен свист меча От могучего плеча! Всех побил Алёша ладно, Чтоб им не было повадно! Порубившись час с лишком, Ворочается шажком. Звон поднялся колокольный, Ожил Киев, город стольный, Из домишек вышел люд, Все по улицам бегут. Нет проходу из-за давки, Отперлись дворы да лавки, Всякий встречный ротозей Похваляет витязей. Сбёг Владимир со ступенек: «Честь тебе, Фома Беренник, И земной поклон от нас, Потому ты город спас!» Витязей, уважив в меру,

Отпущали на фатеру. Улеглись богатыри Да проспали до зари.

Утром — не было напасти! — Вновь пришло татар до страсти! Всякий праздный ротозей По домам бежит скорей. Нет ни шуму, нет ни давки, Заперлись дворы да лавки, По домишкам млад и стар Затворились от татар. Город Киев ровно вымер! Испужался Володимир Да от чёрного крыльца Снова шлёт к Фоме мальца: «Выручай, Фома хоробрый, Посчитай татарам рёбра, Пуще прежней валит рать Город Киев воевать! Подави татар, как гниду, Христиан не дай в обиду! Изничтожить енту мразь Володимир просит князь!» «Ах ты, чтоб их всех в бучиле Водяные намочили! Нам ништо, уж так и быть, Почему их не побить?» Говорит Фома Добрыне: «Поубавь-ка им гордыни! Мало били их вчерась, Снова сила собралась! Поезжай-ка ты, Никитич,

Об татар булат свой выточь, Больно мало для меня!» Сел Добрыня на коня, Полетел, как белый кречет, Татарву сечёт да мечет, Только слышен свист меча От могучего плеча! Тысяч сто, кабы не триста — Всех как есть побил начисто. Порубившись час с лишком, Ворочается шажком. Звон поднялся колокольный, Ожил Киев, город стольный, Из домишек вышел люд, Все по улицам бегут. Нет проходу из–за давки, Отперлись дворы да лавки, Всякий встречный ротозей Похваляет витязей. Сбёг Владимир со ступенек: «Честь тебе, Фома Беренник, И земной поклон от нас, Потому ты город спас!» Витязей, уважив в меру, Отпускали на фатеру. Улеглись богатыри Да проспали до зари.

Утром — не было напасти! — Вновь пришло татар до страсти! Всякий праздный ротозей По домам бежит скорей. Нет ни шуму, нет ни давки,

Заперлись дворы да лавки, По домишкам млад и стар Затворились от татар. Город Киев ровно вымер. Испужался Володимир Да от чёрного крыльца Снова шлёт к Фоме мальца: «Выручай, Фома хоробрый, Посчитай татарам рёбра. Тьмой несчётной валит рать Город Киев воевать! Подави татар, как гниду, Христиан не дай в обиду! Изничтожить енту мразь Володимир просит князь!» Молвит Фомка: «Видно, шило Ведьма им в портки зашила. И чего ж они хотят? Я уж вырос из ребят, Чтоб играть мне с ними в рюшки! Хватит их и для Илюшки!» Говорит Илье Фома: «Коли их взаправду тьма, Поубавь на всякий случай!» Полетел грозовой тучей Славный Муромец Илья, Меч его — что молонья! Так и валит буреломом! Всех побил, как Божьим громом! Порубившись час с лишком, Ворочается шажком. Звон поднялся колокольный, Ожил Киев, город стольный,

Из домишек вышел люд, Все по улице бегут. Нет проходу из—за давки, Отперлись дворы да лавки, Всякий встречный ротозей Похваляет витязей. Сбёг Владимир со ступенек: «Честь тебе, Фома Беренник, И земной поклон от нас, Потому народ ты спас!» Витязей в тот день в кружале Больно долго ублажали. Лишь о полночь на покой Отпущали их домой.

Утром, только что Ярило Витязей поразбудило, Только поднялись — ан, глядь! — Обложила Киев рать. Не видать земли ни крохи: Татарва кишит, что блохи! Вот и сам татарский хан Выезжает на курган. Город Киев ровно вымер! Испужался Володимир, И со всех-то княжьих ног Ко Фоме он сам побёг! «Как тут быть, Фома хоробрый? Затрещат, знать, наши рёбра, Коль тебе теперь невмочь Граду-Киеву помочь! Пособи, коль милость будет. Русь службишки не забудет.

Заступися за народ, А за мной не пропадёт!» — «Не тужи, Владимир-Солнце, Постучит уж хан о донце. Не по чину, вишь, ему Бить Беренника Фому. Мало, знать, дитём он порот, Коль идёт теперь на город!» Закричал Фома: «Илья! С витязями из кремля Выходи-ка тайным лазом Да на хана вдарьте разом!» Говорит Илья в ответ: «Нам идти теперь не след. Коли было б нам по силе. Мы б тебя и не просили, Да, вишь, нам невпроворот. Стало, твой теперь черёд». Не повёл Фома и ухом: «Я татар единым духом, Коли вам не по плечу, И один отколочу! А для всякого случаю, Дай, маленько осерчаю. Вы ж взнуздайте для меня Этим временем коня Да сготовьте мне доспехи. Вот уж дам им на орехи!» Побежал Илья тотчас Фомкин выполнить приказ. Кони витязей на воле Травку щиплют в чистом поле. Ну, а Фомкин чалый пёс

В стойлах хряпает овёс. Рассерчал Илья: «Короста!» Да того одра за хвост-то, Понатужившись слегка, Зашвырнул за облака. На татар в то время в щёлку Фомка смотрит втихомолку: «Ровно в верше караси! Матерь Божья, пронеси! Аль пошли небесный о́гонь Попалить всю эту погань! Как глядеть-то будет князь — Не ударишь рылом в грязь! Хоть найду себе пропажу, А Владимира уважу. Лучше смерть, чем срам, приму!» Подошёл Илья к нему: «Конь твой сгрыз овса по горло, И с того его распёрло, Проглядела молодёжь. На татар-то как пойдёшь? Нет коня!» — «На кой он леший? Я на них пойду и пеший!» — В руку взял Фома булат, На глаза накинул плат, Чтоб сгибать не так уж страшно, На татар пошёл отважно. За ворота из кремля Выводил его Илья.

Жил тогда в татарском стане Богатырь один при хане. Хан того богатыря

Не пускал на сечу зря, А держал для раззаводу, Чтоб поддерживать породу. Битюги его лягай! — Здоровенный был бугай! Да, знать, время подоспело И его пустить на дело. Хан — к нему и держит речь: «Трудно русских нам посечь: Бьют-то нас они не палкой, А, как есть, одной смекалкой. Чтоб нас ихний богатырь Не подвёл под монастырь, Что он там себе ни делай, Ты за ним, наш витязь смелый. Хоть поймёшь, хоть не поймёшь, А сейчас же делай то ж!» «Будь покоен, хан, я чаю, Нипочём не подкачаю, Не загину воробьём, Как-нибудь его побьём!» — Хану так сказал и, значит, Фомке он навстречу скачет. «Чтоб тебя оглоблей в плешь! Богатырь-то русский — пеш! Сразу видно: хитрый дюже, Да и я тебя не хуже! Вишь, глаза завесил, бес». — И с коня татарин слез. Сплюнув с злости через губу, Привязал коня он к дубу, Замотал платком глаза И не видит ни аза!

Ну, а Фомке, знамо дело, Ждать кончины надоело. Мыслит Фомка: «Что за шут, Да чего ж меня не бьют?» И, в платке-то сделав дырку, На татарина в позырку Запущает, стал быть, глаз. А татарин-то как раз Повернулся к Фомке тылом Да в потёмках тычет рылом, Что тебе слепой щенок. Фомка вытянул клинок Да ему, не давши маху, Прочь башку отсёк с размаху! Как орда-то заревёт Да как кинется вперёд! За побитого-то, стало, Больно им досадно стало. Животишко бороня, На татарского коня, Разогнавшись, Фомка легше Быстроногой прыгнул векши. Вскинул конь пылищи клуб Да с корнями вырвал дуб! Фомка-дурень с перепугу Уцепился за подпругу, Не сдержавшись, сполз под низ Да под брюхом и повис. Заорал Фома: «Ратуйте!» Татарве ж помстилось: «Дуйте!» Врассыпную вся их рать Так и брызнула тикать!



Конь их на поле открытом Давит дубом, бьёт копытом, За ордой бежит вослед — Никому спасенья нет! Полегла, как есть, вся сила, Тут и хана придавило! Через час, ровно мешок, Фомку в Киев конь сволок. Ожил Киев, город стольный, Звон поднялся колокольный, Из домишек вышел люд, Все по улице бегут. Нет проходу из-за давки, Отперлись дворы да лавки, Набралось народу — страсть: Негде яблоку упасть! Сбёг Владимир со ступенек: «Честь тебе, Фома Беренник!

На Руси на всей такой Не бывал ещё герой! Наши низкие поклоны Да княжну-то нашу в жёны Принимай теперь от нас, Потому ты царство спас!» Тут Фома не стал чиниться: «Почему не ожениться? Ожениться не беда, Коль девчонка хоть куда! — Не рябая, не косая. Стало быть, ликуй, Исайя!»

Тут княжну с богатырём Повели пред алтарём, Поменяли им колечки Да поклали спать на печке. Знать, и Фомке-червяку Перепало на веку! Володимир спозаранку Зятю спраздновал гулянку Да на славный княжий пир Скликал весь крещёный мир! Там и мне б нашлось местечко, Да случилась, вишь, осечка: Я о времени о том Нерождённым был дитём. Так приманка не по рыбке! — В небе я качался в зыбке, Палец день-деньской лизал, А на землю не слезал. Но, однако, мне известно, Что гуляли интересно,



Потому оттуда, друг, Шёл хмельной-то больно дух. Яж, как был дитём невинным, Так меня дух этот винный, Вклинясь в небеса, что шип, Ровно обухом прошиб. Я из зыбки наклонился Да на землю и свалился, Протрезвился и гляжу, Будто в люльке я лежу. А княгиня молодая Мне, выходит, мать родная. А Фома, должно, отец... Тут всей сказке и конец!



Упоминаемые географические названия

Аксай, старинный казачий городок на юго–востоке Ростовской области у места впадения в Дон речки Аксай.

Белградчик (Белоградчик), город на северо-западе Болгарии, на Балканах, между горными массивами Венец и Ведерник.

Березанская, большая станица в Выселковском районе Краснодарского края, в 13 км от райцентра.

Брянск, уездный город Орловской губернии, ныне областной центр. **Венден**, уездный город Лифляндской губернии в 83 верстах от г. Риги, ныне г. Цесис в Латвии.

Влашское Село, вероятно, село Влахи в Болгарии, в Благоевградской области.

Выселки, станица, районный центр Краснодарского края.

Галлиполи, полуостров в европейской части Турции между Саргассовым заливом Эгейского моря и проливом Дарданеллы. В 1920–1921 годах после эвакуации Белой армии из Крыма стал центром Белого движения. В 1921 году образовано Общество галлиполийцев, существующее и поныне.

Гейдельберг, немецкая колония в Крыму, получившая название по древнему германскому городу Гейдельбергу.

Гначбау, селение в Краснодарском крае, бывшая немецкая колония, где был похоронен генерал Корнилов.

Георгие-Афипская, станица (ныне посёлок городского типа) в Северском районе Краснодарского края, в 15 км от краевого центра, на берегу р. Афипс.

Гуково, шахтерский город и железнодорожная станция в Ростовской области, на границе с Украиной.

Егорлыкская, станица в Ростовской области в 103 км к юго–востоку от Ростова–на–Дону, райцентр.

Екатериновская, станица на реке Ее, в 150 км от г. Ейска, в 1961 году переименована в Крыловскую, центр одноимённого района.

Екатеринодар, название г. Краснодар до 1920 года.

Елизаветинская, станица, пригород Краснодара.

Зегевольд, официальное название г. Сигулда в Латвии до 1917 года. **Карачёв**, уездный город в Орловской губернии, с 1920 года райцентр Брянской области.

Кейпен (Кейпене), имение, ныне поселок и железнодорожная станция в Огрском районе Латвии.

Кореновская, станица, ныне райцентр Краснодарского края г. Кореновск.

Лежанка (Егорлыкское Среднее), село в Ставропольской губернии на р. Средний Егорлык.

Меврский оазис, местность в юго–восточной части Туркменистана, где был расположен древнейший город Средней Азии Мерв.

Медведовская, станица в Тимашёвском районе Краснодарского края.

Мечетинская, станица Черкасского округа Войска Донского, ныне в Зерноградском районе Ростовской обл., центр сельского поселения.

Нейе, вероятно, имение или селение в Лифляндской губернии (ныне в Латвии).

Ново-Дмитриевская (Ново-Дмитровка), станица, пригород Краснодара.

Ольгинская, станица и железнодорожная станция в Аксайском районе Ростовской области. Павловская, станица в Ростовской области.

Перник, второй по населению город в Болгарии, в 30 км к юго–востоку от Софии.

Покровское, село в Крыму между Керчью и Феодосией близ станции «Семь колодезей».

Сергеевка, село в Ставропольском крае.

Сысока, река в Ростовской обл., это название также носят две расположенные в станице Павловской железнодорожные станции: Сысока–Ейская и Сысока–Ростовская.

Рославль, древний уездный город Смоленской губернии, ныне райцентр.

 $ilde{ extbf{Temephuk}}$, равнинная река в Ростовской области, правый приток Дона.

Усть-Лабинская (Усть-Лаба), станица на р. Лаба, ныне районный город Усть-Лабинск Краснодарского края, в 65 км от Краснодара.

Фердинанд, название болгарского областного центра г. Монтана в 1891–1945 годах.

Фермопильское ущелье, узкий проход в Эгейской возвышенности, арена исторических сражений древности, находится на территории Греции.

Хомутовская, станица в Кагальницком районе Ростовской области. **Чипоровцы** (ныне Чипровцы), поселок на северо-западе Болгарии, на Балканах, известный традициями коврового производства.

Чупрене, горное село в Болгарии в Видинской области.

Упоминаемые исторические лица

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), русский военачальник, Генерального штаба генерал от инфантерии (1914), генерал-адъютант (1916). Участник Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов, Русско-Японской войны1904–1905 годов и Первой мировой войны, создатель и Верховный руководитель Добровольческой армии. Погиб в Екатеринодаре 8 октября 1918 года.

Алфёров Владимир, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, погиб в конце 1917— начале 1918 года в г. Новочеркасске.

Афонин, унтер-офицер, земляк Ю.А. Рейнгардта, его сослуживец по 175-му Батуринскому полку.

Базлов, штабс-капитан, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по 175-му Батуринскому полку.

Бодлер Шарль-Пьер (1821–1867), крупнейший французский поэт XIX века.

Бондарь, поручик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Роте Ставки Главнокомандующего в 1919 году.

Борцов Яков Дмитриевич, командир 1-го батальона, полковник 5-й роты 1 Офицерского полка дивизии генерала Маркова, штабс-капитан Русской Императорской армии, умер в 1964 году в г. Салоники (Греция).

Быховец, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, в Добровольческой армии с конца 1917 года, погиб 24 марта 1918 года в бою у станицы Георгие–Афипская.

Васильев, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Вийон Франсуа (1431- после 1463), великий французский поэт.

Гетманский, поручик, командир конной сотни, сослуживец Ю.А. Рейнгардта.

Гусиков Михаил, поручик дроздовского полка, участник Дроздовского перехода, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Роте Ставки Главнокомандующего в 1919 году.

Деникин Антон Иванович (1872–1947), российский военный деятель, генерал–лейтенант (1916). В 1-ю мировую войну командовал стрелковой бригадой и дивизией, армейским корпусом. С октября 1918 года Главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 года Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России, куда вошли: Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия, Черноморский флот. С апреля 1920 года жил в эмиграции в Константинополе, Лондоне, Венгрии, Брюсселе, Париже, с 1945 года — в Детройте (США).

Димитров Георги Михайлов (1882–1949), государственный деятель Болгарии и международного коммунистического движения. В 1913 году избран депутатом Национального собрания (парламента) страны. В 1933 году во время эмиграции в Германии обвинён немецкими властями в поджоге здания берлинского рейхстага, арестован. Судебный процесс принёс Димитрову всемирную известность, где он сумел доказать свою невиновность. В 1934–1945 годах находился в СССР, в 1935–1943 годах был генеральным секретарём Коминтерна. Инициатор создания (1942) и руководитель Отечественного фронта Болгарии, в 1946–1949 годах председатель Совета Министров Болгарии, с 1948 генеральный секретарь ЦК Болгарской КП.

Добронравов, штабс-капитан, в Добровольческой армии с декабря 1917 года, командир 2-й роты 1-го Офицерского батальона, погиб 1 февраля 1918 года у станции Гуково.

Докукин Иван Павлович (1880–1956), генерал-майор (1922), Георгиевский кавалер, участник 1-й мировой войны. В 1918 году участвовал в формировании Ставропольского офицерского полка, в котором занял должность командира 2-го батальона, затем был помощником командира 1-го батальона 1-го Офицерского полка, в составе которого принял участие во 2-м Кубанском походе. С июня 1919 года — помощник командира 2-го Офицерского полка, в конце сентября (октябре) 1919 года командовал отрядом из батальонов марковских полков в районе города Ливны. В ноябре 1919 года был временно исполняющим должность командира 1-го Офицерского полка, в январе-марте 1920 года — командир 2-го Офицерского полка. После эвакуации из Крыма в Галлиполи был временно исполняющим должность командира Марковского пехотного полка, возглавлял группу этого полка в Болгарии, где потом проживал в эмиграции в г. Пернике.

Дончев, болгарский коммунист, учитель с. Чупрене, во время коммунистического восстания 1923–1924 годов поднял на мятеж своё село, погиб в 1923 году.

Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919), русский военачальник, Генерального штаба генерал-майор (1918). Участник Русско-Японской, Первой мировой и Гражданской войн, один из видных организаторов и руководителей Белого движения на юге России, организатор и руководитель 1200-вёрстного перехода отряда добровольцев из Ясс в Новочеркасск в марте-мае 1918 года, командир 3-й стрелковой дивизии Добровольческой армии.

Евдокимов, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Елин Иван, поручик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, в 1919 году командир 7-й роты 1-го Офицерского генерала Маркова полка.

Ершов (Вуколыч), поручик, командир команды конных разведчиков 1-го Офицерского генерала Маркова полка, погиб 23 июля (5 августа) 1919 года у станции Готня.

Жлоба, капитан, командир Роты Ставки Главнокомандующего в 1919 году.

Залёткин Георгий Н., поручик, затем полковник, в 1918 году служил при штабе 1-го Офицерского полка, после окончания Гражданской войны жил в эмиграции.

Згривец, штабс-капитан, произведён из фельдфебелей, командир 3-го взвода 1-ой роты 1-го Офицерского полка, погиб в бою под Сысокой в начале мая 1918 года.

Зоннештраль, поручик, участник 2-го Кубанского похода. 2 августа 1918 года назначен командиром команды конных разведчиков 1-го Офицерского полка, 7 августа 1918 года убит у хуторов Малеваны.

Иванов, доктор в отряде Ю.А. Рейнгардта в 1923 году, погиб в г. Пернике.

Иевлев Сергей, участник Гражданской войны, воевал в 4-м взводе 1-й Офицерской роты, был ранен в руку при штурме Екатеринодара в конце марта 1918 года. Со второй половины 1919 года воевал под началом Ю.А. Рейнгардта.

Изенбек Фёдор (Али) Артурович (1890–1941), полковник (1920), происходил из семьи морского офицера. Окончив кадетский корпус, поступил в Императорскую Академию художеств, службу в Туркестанской артиллерийской бригаде завершил в чине прапорщика. Был зарисовщиком в экспедициях на Востоке. К 1918 году штабс-капитан. Участник 1-го и 2-го Кубанских походов. С июля 1919 года командир 2-й запасной батареи 1-й Артиллерийской бригады, с декабря 1919 года командир 4-й батареи. В эмиграции жил в Париже, затем в Брюсселе. Канцеров Павел Григорьевич, генерал—лейтенант, участник 1-й Мировой войны, с ноября 1915 года командир 283-го пехотного Павлоградского полка, позднее начальник 71-й пехотной дивизии, награждён орденами Святого Георгия 3-й и 4-й степени, в январе—феврале 1920 года командир Марковской дивизии. Отстранён от должности после разгрома дивизии у станицы Ольгинской 29 февраля 1920 года и зачислен в резерв, позднее начальник тыла 1-го армейского корпуса.

Коларов Васил Петров (1877–1950), болгарский политик, академик, руководитель Болгарской коммунистической партии и Коминтерна, премьер-министр Болгарии в 1949–1950 годах.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), выдающийся русский военачальник, Генерального штаба генерал от инфантерии, военный разведчик, дипломат и путешественник, Верховный Главнокомандующий Русской армии с августа 1917 года, один из организаторов и Главнокомандующий Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России.

Краснов Пётр Николаевич (1869–1947), русский генерал, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, известный писатель и публицист. Во время Второй мировой войны сотрудничал с властями нацисткой Германии, за что был осуждён и казнён в Москве.

Кромм, поручик, в Добровольческой армии с осени 1917 года, с декабря 1917 года командир 4-й роты 1-го Офицерского батальона, тяжело ранен при штурме Екатеринодара в конце марта 1918 года.

Крюков, денщик Ю.А. Рейнгардта в 175-м Батуринском полку.

Крыжановский Василий Михайлович, штабс-капитан, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Крыжановский Всеволод Владимирович (1892–1980), капитан, в феврале 1918 года штабс-капитан, участник 1-го и 2-го Кубанских походов в составе 1-й роты Офицерского полка. В июле 1919 года воевал в составе команды пеших разведчиков 1-го Офицерского полка, в ноябре 1919 года временно исполнял обязанности командира 2-го Офицерского полка, осенью 1925 года находился в составе Марковского полка во Франции, произведён в звание полковника. Умер во Франции.

Крылов, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Левис оф Менар, дворянский род шотландского происхождения, переселившийся в первой половине XVII века в Швецию и оттуда в Лифляндию.

Леконт де Лиль Шарль Мари Рене (1818–1894), выдающийся французский поэт, член французской академии.

Лингрвар∂т, под этой фамилией автор имеет в виду себя.

Марков Сергей Леонидович (1878–1918), генерал–лейтенант (1917), участник Русско–Японской войны, Первой Мировой и Гражданской войны, начальник штаба 4-й («Железной») стрелковой дивизии генерала Деникина в 1915–1916 годах, командир 13-го стрелкового полка в 1916–1917 годах, заместитель начальника оперативного отдела штаба Ставки Главного командования в 1917 году, начальник штаба Западного и Юго–Западного фронтов в августе 1917 года. Один из главных организаторов Добровольческой армии: командир 1-го Офицерского (Добровольческого) полка, затем командир 1-й пехотной дивизии. Убит в бою 12 июня 1918 года во 2-м Кубанском походе. Именем генерала назван 1-й Офицерский полк, а позже 2-я (Марковская) пехотная дивизия.

Миончинский Дмитрий Тимофеевич (1889–1918), полковник, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, в 1916 году командир 5-й батареи 31-й артиллерийской бригады. В Добровольческой армии с декабря 1917 года, командир Сводной Михайловско-Константиновской батареи, участник 1-го и 2-го Кубанских походов, командир 1-й

Офицерской батареи в составе 1-го Отдельного лёгкого артиллерийского дивизиона, с июля 1918 года командир дивизиона. 29 декабря 1918 года смертельно ранен в бою у села Шишкино Ставропольской губернии. Похоронен в Екатеринодаре в усыпальнице Войскового собора.

Монев, капитан Болгарской армии, начальник 5-го пограничного участка в 1923 году.

Мымрюк, унтер-офицер, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по 175-му Батуринскому полку.

Негребецкий, полковник, командир батальона Роты Ставки Главнокомандующего, сослуживец Ю.А. Рейнгардта.

Недошивин Константин, поручик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, был ранен в начале мая 1918 года в бою у станции Сысока, погиб 6 июня 1918 года в бою за станицу Екатериновскую.

Нестеренко, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, погиб или был тяжело ранен у станицы Кореновской 4 марта 1918 года.

Образцов Дмитрий Васильевич, капитан (посмертно произведён в полковники), участник 1-й мировой войны, полный Георгиевский кавалер. На фронт ушёл добровольцем со студенческой скамьи, воевал в 14-м Олонецком пехотном полку, в 1915 году за боевые заслуги произведён в офицеры, в 1917 году командир батальона, в начале 1918 года имел звание штабс-капитана. В Добровольческой армии с конца 1917 года под началом генерала Маркова, с февраля 1918 года являлся офицером Сводного офицерского полка, участник 1-го Кубанского похода, неоднократно имел ранения. С июля 1918 года адъютант, в конце февраля 1919 года переведён командиром в 7-ю роту полка, с июля 1919 года командир 4-го батальона, с августа помощник командира 2-го Офицерского полка, убит в бою 2 ноября 1919 года.

Павлов Василий Ефимович (1895–1989), подполковник, выпускник Алексеевского военного училища, кавалер ордена святого Георгия IV ст., участник 1-й Мировой и Гражданской войн, в Добровольческой армии с начала её создания, участник 1-го и 2-го Кубанских походов, в июле 1918 года назначен помощником командира, затем командиром 7-й роты 1-го Офицерского Марковского полка. В 1919 году — командир 5-й роты 1-го Офицерского Марковского полка, с октября 1919 года командир 3-го батальона 3-го Офицерского Марковского полка в чине подполковника. Из Крыма эвакуировался в Галлиполи, затем в 1922 году в Болгарию, откуда в 1925 году переехал во Францию. В эмиграции активно участвовал в общественных организациях сторонников белого движения, был издателем и редактором военно-исторического журнала «Связь по цепям марковцев». После войны окончил ранее начатую полковыми историками работу по истории марковских частей. В 1962-1964 годах в Париже вышли в свет два тома истории: «Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917-1920 годов».

Паль, поручик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Пашкевич Яков Антонович, по прозвищу Чинизелли, поручик Корниловского ударного полка, начальник штаба пулемётной команды, участник 1-го Кубанского похода. В декабре 1918 года произведён в капитаны, в начале 1919 года был начальником учебной команды полка, с мая 1919 года командовал 2-м Корниловским полком, произведён в полковники в октябре 1919 года. Был награждён орденом св. Николая Чудотворца. Убит 15 июля 1920 года в селе Б. Токмак в Северной Таврии.

Пелевин, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, ротный писарь, ранен 6 июня 1918 года в бою за станицу Екатериновскую.

Пешня Михаил Алексеевич (1885–1937), генерал-майор (1920), уча-

стник Первой мировой войны, в Добровольческую армию прибыл летом 1918 года, с октября 1918 года командир 3-го батальона Корниловского ударного полка, с декабря помощник командира полка, с сентября 1919 года командующий Корниловским ударным полком, а с развёртыванием полка в дивизию командир 1-го Корниловского ударного полка (с 10 октября 1919 года), затем помощник командующего Корниловской ударной дивизии (13 мая 1920 года утверждён в этой должности). В ноябре 1920 года назначен начальником Марковской дивизии, но принял её уже в Галлиполи свёрнутой в полк. С переездом в Болгарию остался во главе Марковского полка и других русских военных организаций в Видинском округе, с 1926 года в эмиграции во Франции, продолжал состоять командиром Марковского полка и возглавлял Объединения марковцев во Франции. Умер в Париже 4 декабря 1937 года.

Платов, доброволец, сослуживец Ю.А. Рейнгардта.

Плохинская Пелагея Иосифовна, медсестра, жена Н.Б. Плохинского.

Плохинский Назар Борисович, полковник, участник 1-й Мировой войны, в 1917 году командир роты в 126-м Рыльском полку, затем помощник командира 127-й Путивльского полка. В Добровольческой армии с декабря 1917 года, по прибытии принял командование 1-й ротой 1-го Офицерского батальона. После переформирования Добровольческой армии в феврале 1918 года командир 1-й роты Сводно-Офицерского полка, затем командир 1-го батальона полка. Скончался от ран, полученных в бою у станицы Кореновской, 1 августа 1918 года.

Поляков Павел Фёдорович, капитан, участник 1-го и 2-го Кубанских походов. С мая 1918 года он был командиром 1-й роты 1-го Офицерского полка, после ранения осенью 1918 года вернулся на должность командира 1-й роты.

Пржевальский, корнет, участник 1-й Мировой войны, воевал в 3-м Заамурском полку, в Добровольческой армии с декабря 1917 года, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, погиб в Екатеринодаре в конце марта 1918 года.

Ревякин, врач 1-го Офицерского полка.

Рейнгардт Александр Николаевич, отец Ю.А. Рейнгардта, известный орловский адвокат и общественный деятель, участвовал в издании губернской газеты «Орловский вестник», весной и летом 1917 года был председателем временного революционного исполнительного комитета в г. Карачёве Орловской губернии, расстрелян красными в Крыму в 1920 голу.

Рейнгардт Юрий (Георгий) **Александрович** (1897–1976), капитан, участник 1-й Мировой и Гражданской войн, в июне 1917 года после окончания Александровского военного училища произведён в прапорщики и направлен на фронт в 175-й Батуринский полк младшим офицером, был начальником команды траншейных орудий, в Добровольческой армии с 13 ноября 1917 года, участник 1-го и 2-го Кубанских походов. До 14 декабря 1917 года воевал в отряде есаула Чернецова, затем в 3-й роте 1-го Офицерского батальона, 1-й роте 3-м взводе 1-го Офицерского генерала Маркова полка. С 11 февраля 1919 года служил в отряде Особого назначения (охрана Великого Князя Николая Николаевича), в апреле 1919 года в Роте Ставки Главнокомандующего, в мае 1919 года вернулся в свой полк начальником команды разведчиков 4-го батальона, в июне назначен помощником командира 8-й роты, в августе — командиром 10-й роты. В 1920 году в Крыму неоднократно временно исполнял обязанности командира батальона. Имел 15 ранений, из которых одно тяжёлое (в мае 1918 года у станции Сысока). Кавалер ордена свт. Николая Чудотворца и знака отличия за 1-й Кубанский поход. Из Крыма эвакуировался с полком в Галлиполи, затем в Болгарию, где принял участие в подавлении коммунистического мятежа в 1923–1924 годах. С 1927 года в эмиграции в Бельгии, работал таксистом. В 1960-е годы как член редколлегии опубликовал рассказы-воспоминания в журналах «Вестник первопоходника» и «Первопоходник». Умер в Брюсселе в 1976 году.

Рексин Константин А., капитан, адъютант И.П. Докукина.

Родичев Гавриил Дмитриевич (1889–1930), военный врач, поручик, учился в Московском университете, в 1-й Мировой войне участвовал как младший военный врач. В Добровольческой армии с осени 1917 года, во время 1-го Кубанского похода был ординарцем генерала Маркова, участвовал во многих боях Марковской пехотной дивизии, в июне 1918 года младший врач в 1-м Офицерскому генерала Маркова полку. В конце 1918 года по личному желанию переведён добровольцем в команду конных ординарцев 1-й бригады 1-й Пехотной дивизии. В эмиграции в Галлиполи, затем в Тырново (Болгария), с 1922 года в Чехословакии, где завершил медицинское образование. С 1927 года служил во Французском Конго, умер в 1930 году в Париже.

Романовский Иван Павлович (1877–1920), военачальник, генерал-лейтенант (1919), в июне-сентябре 1917 года 1-й генерал-квартирмейстер при Верховном Главнокомандующем. За поддержку действий Л.Г. Корнилова в конце августа 1917 года арестован, бежал на Дон. Участвовал в формировании Добровольческой армии, с февраля 1918 года начальник её штаба. В январе 1919 года — апреле 1920 года начальник штаба Вооружённых сил Юга России. Убит в Стамбуле русским офицером.

Рубашкин, прапорщик. Под этой фамилией автор изобразил себя.

Савельев М.Ф., капитан, офицер Ударного дивизиона, затем 4-й роты Офицерского полка, участник 1-го и 2-го Кубанских походов, с сентября 1918 года командир 4-й роты, позднее командир Особой роты при Ставке Главнокомандующего Добровольческой армии, с декабря 1919 года по март 1920 года — командир 3-го Офицерского генерала Маркова полка, затем отказался от командования полком. Умер в эмиграции.

Сантурин, унтер-офицер, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Селецкий И.Л., помощник командира 4-й роты Офицерского полка **Смиренский Михаил**, капитан, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Стасюк, капитан, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Степашин М.Г., полковник, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Тарабанов Александр, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Тихомиров, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Уланд Людвиг (1787–1862), немецкий поэт–романтик, драматург, общественный деятель.

Успенский, поручик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии, был ранен в начале мая 1918 года в бою у станции Сысока.

Федько Иван Фёдорович (1897–1939), советский военачальник, участник Гражданской войны, член РКП(б) с 1917 года, на военной службе состоял с 1916 года, в 1917 году окончил школу прапорщиков в Киеве, с 1918 года в Красной армии. В 1922 году окончил военную академию РККА, во время Октябрьской революции был одним из руководителей ревкома и организаторов отряда Красной Гвардии. В 1918–1920 годах командовал 3-й и 1-й колоннами войск Северного Кавказа, 11-й армией, был

Фишер Борис Александрович, родился в Черниговской губернии, был студентом Петроградского института путей сообщения, затем окончил юнкерский курс Константиновского артиллерийского училища, в Добровольческой армии с ноября 1917 года, сначала в юнкерской батарее. Участвовал в рейде партизанского отряда В.М. Чернецова, в феврале 1918 года произведён в прапорщики. Участник 1-го Кубанского похода в составе в составе 1-й Офицерской батареи, затем служил в 1-м лёгком артиллерийском дивизионе до эвакуации из Крыма в Галлиполи. В сентябре 1920 года имел звание штабс-капитана. Служил в составе Марковского артиллерийского дивизиона в Болгарии, имел чин полковника. Погиб в период с 1929 по 1945 год.

Царёв Владимир, капитан, по прозвищу Облом, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, начальник учебной команды.

Чернецов Василий Михайлович (1880–1918), есаул, впоследствии полковник, донской казак, участник 1-й Мировой войны, награждён Георгиевским оружием, активный участник Белого движения на юге России, командир первого партизанского отряда белых. Погиб 21 января 1918 года.

Чириков Евгений Евгеньевич (1899–1970), сын писателя Е.Н. Чирикова, участник Белого движения, в Добровольческой армии с ноября 1918 года, служил в 4-м взводе 1 роты 1-го Офицерского полка под началом поручика Кромма, был тяжело ранен в бою у станицы Елизаветинской под Екатеринодаром в начале мая 1918 года. Умер в эмиграции.

Чириков Евгений Николаевич (1864–1932), русский писатель, родился в дворянской семье, в 1887 году был исключён с 4-го курса Казанского университета за участие в революционных волнениях. С 1885 года выступал в печати со стихами, реалистическими рассказами, пьесами. В автобиографическом романе «Жизнь Тарханова» (кн. 1–4, 1911–1925), в сборниках рассказов разрабатывал темы жизни провинциальной интеллигенции, детства, возвышенной любви, русской природы. В 1920 году эмигрировал, умер в Праге. Упоминаемая в рассказе Ю.А. Рейнгардта повесть «Юность» входит в роман «Жизнь Тарханова».

Штемберг, прапорщик, сослуживец Ю.А. Рейнгардта по Добровольческой армии.

Юрасов, полковник, в конце 1918 года помощник командира 1-го батальона 1-го Офицерского полка. Возможно, это Юрасов Константин Сергеевич (1889-?), учился на юридическом факультете Императорского С.-Петербургского университета, в августе 1917 года поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, участник неудавшегося Корниловского выступления 28 августа 1917 года, затем в Добровольческой армии: в августе 1918 года в Запасном кавалерийском полку, в марте 1919 года—адъютант того же полка. Затем воевал в эскадроне своего полка, во 2-м Сводно-гвардейском кавалерийском полку. В эмиграции в Югославии, в 1938 году был представителем полкового объединения в этой стране.

Яковенко, подполковник, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, погиб или был тяжело ранен под станицей Кореновской 4 марта 1918 года.

Якушев Виктор, поручик, участник Первой мировой войны, воевал в 3-м Заамурском полку, в Добровольческой армии с конца 1917 года, сослуживец Ю.А. Рейнгардта, командир полуоотделения.

Словарь редко употребляемых слов, терминов и имён собственных

Адонаис (Адонис) — персонаж греческой мифологии, прекрасный юноша, в которого влюбилась богиня любви Афродита, погиб совсем юным, убитый вепрем. Английский поэт П. Б. Шелли дал прозвище Адонаис поэту Дж. Китсу в одноименной элегии на смерть последнего (1821): для Шелли смерть поэта явилась столь же безвременной, как и смерть Адониса.

Бафомет — символический сатанинский козёл, обычно изображается в виде получеловека-полукозла или человека с козлиной головой.

Битюги — русская порода лошадей-тяжеловозов.

Боронить — здесь: оборонять.

Браный — узорчатый.

Брашно — кушанье, блюдо.

Бучило — посудина, в которой мочат и отбеливают бельё.

Валькирия — в скандинавской мифологии дочь верховного бога Вотана, которая реет на крылатом коне над полем битвы и отнимает жизни у воинов.

Векша — белка.

Верша — рыболовная снасть-ловушка.

Вешина — ветка, вешка.

Вишну — один из верховных богов индуистского пантеона, входящий вместе с Брахмой и Шивой в триаду (тримурти) и выполняющий космическую функцию хранения мира, действуя в нем через множество своих инкарнаций, главными из которых являются Рама и Кришна.

Влахи — восточно-романские народы, здесь, вероятно, имеются в виду румыны.

Горлач — большая кринка.

Гочкиса пушка — небольшая скорострельная корабельная пушка французского производства.

Гра — однозарядные французские ружья системы Гра от 20 до 28 калибра, переделанные из винтовок в 1871 году.

Делос — остров в Эгейском море, где, по древнегреческим мифам, родились боги Аполлон и Артемида. В древности на острове проводились гимнические и музыкальные состязания греческих хоров из разных городов.

Джаз-банд — небольшой джазовый оркестр (до 10 исполнителей). **Доезжать** — здесь: настигать.

Ессеи — еврейская религиозная секта (2 в. до н. э. — конец 1 в. н. э), обособленное и замкнутое братство; верили, как и фарисеи, в необходимость личного благочестия и удаления от скверны повседневной жизни, а также в посмертное воздаяние (в отличие от саддукеев, ессеи верили в физическое воскресение мертвых); считали себя единственно истинным Израилем.

Зане — потому что.

Инда — даже.

Исайя — библейский пророк, проповедовавший в числе прочего моральные ценности.

Керензята — выпускники юнкерских училищ второй половины 1917 года, времени правления А.Ф. Керенского.

Команчи — североамериканские индейцы.

Короста! — возглас, означающий противного, глупого человека или животного.

Кочет — петух.

Кружало — здесь: старинное название кабаков.

Крути-гаврила — колесо ручного тормоза паровоза; выражение «Крути-гаврила!» означает «Отпускай тормоза!».

Кубан — большая кринка, горлач.

Кысмет — рок.

Левиафан — чудовищный морской змей, иногда отождествляемый с сатаной, упоминается в Ветхом Завете (Иов $3~8,~40~20-41~26;~\Pi c~73~14,~103~26).$

Льюис — английский ручной пулемёт времён 1-й Мировой войны. **Лядящий** — хилый, негодный.

Максим — станковый пулемёт, разработанный американским оружейником Хайремом Максимом в 1883 году.

Мамалыга— круто заваренная каша из кукурузной муки, которая режется специальной ниткой или деревянным ножом.

Мамон, мамона — брюхо, желудок.

Манлихера винтовка — магазинная автоматическая винтовка, разработанная австро-венгерским оружейником Фердинандом Манлихером.

 $\hat{\pmb{M}}\ddot{\pmb{e}}\vec{\pmb{\partial}}$ — здесь в значении: лёгкий алкогольный напиток, изготовленный из пчелиного мёда.

Мерить — здесь в значении: оценивать по своему разумению.

Масичка — стол (болг.).

Молодший — млалший.

Молонья — молния.

Молосс — имеется в виду порода крупных боевых собак, выведенных эллинским племенем молоссов.

Назарянин — прозвание Иисуса Христа, до начала своего служения жившего в Назарете.

Нишкни — возглас, означающий: не кричи, замолчи.

Обсевок — остатки от просеивания зерна, в переносном смысле — девушка, которую не взяли замуж.

Одёр — старый изнурённый конь, кляча.

Окститься — прийти в себя, перекреститься, успокоиться.

Панёва — старинная женская одежда, домотканая юбка.

Парки — три богини судьбы в древнеримской мифологии: Нона прядёт нить человеческой жизни, Децима наматывает нить на веретено, распределяя судьбу, Морта перерезает нить судьбы.

Помститься — послышаться, показаться.

Почестить — воздать почести.

Раззавод — разведение, держать на раззавод — держать на разведение, впрок.

Ракия — крепкий алкогольный напиток из фруктов, аналогичный бренди, популярный у южно-славянских народов.

Ратуйте! — Помогите, спасите!

Репетилов — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», болтун, бездумно повторяющий чужие мнения.

Сам-друг — вдвоём.

Сенная девушка — дворовая девушка, прислуживающая господам, горничная.

Скатной жемчуг — крупный и ровный жемчуг, который может легко катиться по поверхности.

Скиния — святилище.

Стогны — площади и улицы города.

Татарва — татары (татарами в древней Руси могли называть любые кочевые азиатские народности).

Телепаться — болтаться, мотаться, очень медленно идти.

Tuapa — тройная корона, головной убор древних восточных царей, Папы Римского.

Фата-моргана — миражи, при которых объекты видны многократно и с разнообразными искажениями (по преданию, фея Моргана, живущая на морском дне, обманывает путешественников призрачными видениями).

Фатера — жилое помещение (искажение слова «квартира»).

Ферии — праздники в древнеримском календаре.

Чалый конь — серый конь с примесью другой шерсти.

Шварилозе пулемёт — станковый австро-венгерский пулемёт среднего калибра.

Экстемпорале — классная письменная работа по переводу с родного языка на иностранный без предварительной подготовки; импровизания.

Элевс (Элевсин) — город в Аттике (Греция), в древности известный своими мистериями.

Ярило — солнце.

Содержание

Жизнь и поэтическое творчество Юрия Рейнгардта
Добровольческая армия
Рассказы–воспоминания
Штыковой бой18
Страх
Юность
Мой взвод $\dots 32$
Капитан Згривец
Прапорщик Быховец
Поручик Якушев41
Корнет Пржевальский43
Меврский оазис
4 марта 1918 года
Пурга51
«Аблимантес!»
Я и свинья
Верблюд
Бронепоезд73
Горлач сметаны
Заяц90
Алёшка
Генерал Канцеров
Болгарская эпопея
Примечания и комментарии135
«Образ вдаль отошедших времён»
Стихи
На назначение генерала Корнилова Верховным главнокомандующим Русской армии

«Вы, царственные вздохи вод безбурных» 15	1
«Бывает день иль час, когда в пути тяжёлом» 15	
Вынужденное письмо15-	
Возьми!	
Гадание15	7
Бафомет159	
Маленький старичок и великое деяние16	0
Поэтические переводы	
Иоганн Вольфганг Гёте. Почём?	1
Леконт де Лиль. Полдень	
Шарль Бодлер. De profundis clamavi 16-	
Франсуа Вийон. Баллада висельников 16	
Φ рансуа Вийон. Молитва к Божией Матери $\dots 160$	6
«В неизвестном дальнем царстве» Сказки в стихах	
Аленький цветочек	8
Дикие лебеди21	
Легенда Волчьего замка	
Одним махом семерых побивахом	3
Упоминаемые географические названия27-	4
Упоминаемые исторические лица27	6
Словарь редко употребляемых слов,	
терминов и имён собственных 28	3

Юрий Александрович Рейнгардт

«Мы для Родины нашей не мертвы...»

Воспоминания • Стихи • Сказки

Главный редактор: протоцерей Павел Недосекин

Редактор-составитель: *Е.Н. Егорова* Подготовка текстов, художественное

оформление: Е.Н. Егорова

Технические редакторы: В.Н. Киселева, Е.Н. Егорова,

Н.Л. Максимова

Корректор: О.С. Бахтиярова

Использованы иллюстрации:

H.A. Богатова к сказке «Аленький цветочек» (1870–е годы); Heus. авторов из книги: Андерсен Г.–Х. Дикие лебеди. — СПб.. 1894:

А.В. Шуховой к сказкам «Легенда Волчьего замка» и «Одним махом семерых побивахом» (2009 год).

Сдано в набор 10.01.2010. Подписано в печать 5.03.2010. Формат 60х90/16. Гарнитура «Bookman». Усл. печ. л. 18,0. Тираж 1000 экз.

Ассоциация Святой Троицы Московского Патриархата (Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL, per. номер 0477.585.735). Rue Leon Lepage 33–35,1000 Bruxelles, Belgique. Тел. 8–10–322–513–51–13. http://www.podvorje.com, podvorje@yahoo.com

Свято–Екатерининский мужской монастырь 142700, Московская обл., г. Видное–2, Петровский проезд. Тел. (495) 541–22–54, (495) 549–74–94. http://www.ekaterinamon.ru, ekaterinamon@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 143200, Московская область, г. Можайск, Ул. Мира, 93; тел.: (496)20–685, (495)745–84–28. Факс: (49638)21–682. Заказ № http://www.oaompk.ru, oaompk@oaompk.ru

ISBN 978-5-904685-04-1

Архив Русской Эмиграции готовит к изданию книги:

Эрнест фон Валь. Воспоминания: Генштаб — революция 1917 года

Архиепископ Василий (Кривошеин) Переписка с Афоном

В 2009 году выпущена книга:

Владимир Драшусов

«Нас зовёт к себе Россия ...». Стихи